

(((СОНАР)))

№ 6, 2022 г.



Редакция СОНАР, Хайфа, Израиль

**В редколлегии (((СОНАР))) все
редакторы – главные.**



Борис Годин



Эйтан Адам

**Анатолий
Анимица**



Алекс Манфиш



Марина Симкина

Оглавление

[Анатолий Качан]	3
Золото Токура	3
Жан-Клод Паскаль	46
Красивая маска	46
Надежда Бесфамильная	84
Стихи	84
Евгений Бухштаб	96
Рассказы	96
Екатерина Смеркис	105
Сергей Аврутин	108
Эйтан Адам	110
Стихи	110
Алекс Манфиш	117
Анти-теодицея	117
Марк Шехтман	138
Бройтманиана или Под звон бокалов и сосисок	138
Эйтан Адам	186
История, истина, споры	186
Об авторах, художниках и редакторах	205
Галерея (((СОНАР)))	210
Лариса Мангупли	210

Эл. адрес редакции: rougelangue@gmail.com

В оформлении обложки использованы картины Ларисы Мангупли.

На 1-й странице: К родным берегам.

На 3-й странице: Автопортрет с авокадо и адажио.

На 4-й странице: Книга жизни.

Редакция приносит свои извинения уважаемому автору Ирине Лир, а также читателям. В №4 был опубликован цикл мемуаров И. Лир «С намордником наперевес». В №5 был опубликован рассказ «Волшебная палочка от государства» ошибочно как продолжение цикла мемуаров. Автор указала нам на нашу ошибку. Мы принимаем поправку с глубокой благодарностью и извещаем читателей.

[Анатолий Качан]

Золото Токура

Окончание. Начало – в (((Сонар №5)))

Как я стал стукачом

К нам на прииск по делам гебешным регулярно приезжал майор. Побыв недолго, исчезал.

Вызвал меня как-то к себе. Начав издалека (как жизнь, как работа, откуда и кто родители), предложил помочь в выявлении подонков, изменивших Родине, сотрудничавших с фашистами и избежавших наказания.

Я охотно согласился.

И с тех пор, при каждом его приезде, мы уединялись, и он протягивал мне несколько компактных альбомчиков. На каждом развороте было шесть фотографий. И я, листая страницы, под указания майора: «Смотрите внимательно!», пытался найти какое-то мне знакомое лицо. Фотографий было так много, многие морды даже внешне настолько отвратительны, что я постепенно дурел. И заниматься этим уже не мог. Лишь тогда майор забирал у меня альбомчики.

Я хорошо понимал, что это, под благородным видом, начало, что дальше будет грязная работа, но я говорил себе: «Пока, если не я, то кто?» И продолжал встречаться и рассматривать страницы альбомчиков. Из великого множества нашел-таки одно, показавшееся мне знакомым, лицо. Тут же выложил, где и когда с этим человеком встречался.

Был еще случай. Майор сказал, что, возможно, у меня на стройке появится некто Потапенко, кажется. И чтобы я через нашего милиционера немедленно сообщил об этом ему. Что он, якобы, участник казни молодогвардейцев.

Никакого Потапенко не было, но когда я уже вернулся в Харьков, то в газетах прочел, что его задержали. И в Краснодоне был открытый судебный над ним процесс.

Конфликт с майором произошел, когда я сказал, что возвращаюсь в Харьков.

– Мы передадим Ваши материалы в харьковскую го-
сбезопасность, – сказано было мне.

И тут я взорвался:

– Я сотрудничал с Вами потому только, что считал порученное мне делом нужным и полезным! Вы хотите, чтобы в Харькове я стал стукачом? Там и без меня желающих достаточно!

Как же мне угрожал этот майор! Как требовал, чтобы и в Харькове сотрудничал с органами! Но я был непреклонен.

– Что ж. Уезжайте. Но в Харькове с Вами будет другой разговор! – таковы были последние слова того майора.

В Харькове, к счастью, никто ко мне не обратился.

Эх, Курсо-Курсо!

Был у нас на прииске главный энергетик Киричек (имя-отчество забыл).

Был он сыном белогвардейского полковника. За что и сидел в лагерях. Высокий, статный, с благородной сединой – порода чувствовалась во всем.

Начинал он на прииске в каком-то якутском стойбище – мелким начальником. Но для якутов он был, конечно, начальником большим.

И пришлось ему по делам приисковым приехать к месту своей давней работы.

Вот его рассказ о той поездке:

– Встретили меня якуты очень шумно! Тут же забили оленя и пригласили отпраздновать мой приезд.

– Когда я там работал, – говорил мне Киричек, – я, конечно, ко всему привычен был. Но то давно было. И от жизни той успел я отвыкнуть.

А тут садятся все вокруг громадного котла с вареным оленем. Водка, конечно. Глянул я на угощение – и не по себе мне стало: куски мяса вперемешку с шерстью, кровью, глазами оленя.

Глаза эти, самое лакомое угощение, преподносят мне.

Стошнило меня. Смотреть не могу – не то, что есть. Стал отказываться.

Тут надо сделать отступление. Якуты почти не могли правильно произносить русские имена. Я, Анатолий Иванович, был для них Натольпетровичем! И – хоть стреляй! – по-другому они меня не называли.

Киричек был для них Курсо!

И вот самый старый якут, старейшина рода, внимательно посмотрел на Киричка и изрек:

– Эх, Курсо-Курсо. Каким ты был тикарь, таким тикарь и остался!

Закончив, Киричек долго возмущенно крутил головой, приговаривая:

– Так кто из нас дикарь?! Я или он?

А я подумал, что напрасно он так. Каждый видит со своей, укоренившейся в нем, точки зрения.

Конечно, якут был по-своему прав, желая сказать, что как сторонился их Киричек, так и сторонится.

И обидно ему было...

Как мы добывали золото

«В Токуре даже у собак золотые зубы!» – так в свое время заманивали в этот поселок-рудник Селемджинского района – геологов, горных инженеров и золотодобытчиков со всего Союза.

Как вышло, что в начале 2000-х рудник в прямом смысле пошел на дно, какие сокровища таит токурская атлантида и почему у коренных жителей таежного поселка немецкие и китайские фамилии...

(Газета «Амурская правда» от 10 апреля 1918 года)

Золото бывает рудное и рассыпное.

Оно, по сути, рудное, ибо содержится в составе руд, главным образом, прослойках белых кварцевых жил, толщпой с ладонь.

В результате беспокойной жизни нашей земли, часть кварцевых жил обнажалась, и золото в них переносилось водой, скапливаясь вдоль ручьев и рек. Тогда это золото называют рассыпным.

Начну с добычи рудного золота.

Первое дело – найти выходы кварца на поверхность.

Для этого на склонах прокапывают разведочные траншеи, днище которых тщательно обследуют. И если обнаруживается прослойка кварца, в которой есть достаточное количество золота, то роют вдоль прослойки траншеи, чтобы ориентировочно определить толщину и расположение слоя кварца под землей.

Далее в этих местах геологоразведка бурит скалу, чтобы уточнить положение пласта. Если обнаруженное месторождение перспективно, вырабатывают горизонтальную выработку – штольню – в грунте, подсекающую пласт снизу. В штольне устраивают узкоколейку для вывоза породы. Далее, от штольни, вдоль прожилки кварца, делают так называемые «восстающие» – наклонные выработки на определенном расстоянии друг от друга (около 250 метров).

Вверх «восстающие» соединяются между собой горизонтальной выработкой.

Так образуется «оконтуренный блок» – участок взятого «в плен» пласта кварца.

Далее начинается самое трудное.

Прожилка кварца, положим, 10–20 сантиметров толщиной. Желательно выбрать один кварц, но человеку для работы даже на боку, как минимум, нужна щель высотой 70 сантиметров (ему еще и бурильная установка в этой наклонной щели нужна). Значит, придется удалять пустую породу в смеси с кварцем.

И начинается выработка блока снизу. Бурильщик уходит от штольни под наклоном вверх, все дальше забираясь в низкую щель. Бурит там шпур, затем идет в ход взрывчатка. «Отпаленная» порода удаляется вниз к штольне, отвозится. И процесс повторяется. Размеры блоков – положим, 250×250 метров. И когда оказываешься под мегатоннами породы над головой, чувствуешь себя не очень весело: по бокам ничего нет – свет от лампочки на каске ни во что не упирается... Точно в насмешку над тобой, верх щели, в которой ты оказался, поддерживается тонкими деревянными стойками. В действительности сотни метров породы над головой удерживаются так называемыми, *целиками* – участками невыработанной породы в блоке. Стойки

предотвращают лишь локальные вывалы породы.

Работа идет в глинистых сланцах, а порода эта обладает подлой способностью отслаиваться и падать. Поэтому все, кто под землей, ходят по штольне, например, со специальными крючками и смотрят не под ноги, а вверх. Чуть заметишь отслоение породы – немедленно обваливай! Иначе – камень обвалится кому-то (и тебе!) на голову.

Только человек с крепкими нервами, не подверженный клаустрофобии, может работать в блоке!

По мере выработки блока отработанная порода с помощью скреперов – ковшей на тросах – спускается к штольне, а там, через специальные затворы, сыпается в вагонетки.

Естественно, вентиляция удаляет газы от взрывов, естественно, везде работают туманообразователи – для предотвращения попадания пыли в легкие и заболевания силикозом. Даже в буровые штаги, по отверстию в ней, к буровой коронке, подается вода. Но ненадежно все это. При долгой работе под землей люди заболевают силикозом, а он неизлечим...

Извлеченную из штольни породу автомобили-рудовозки везут к приемному бункеру обогатительной фабрики.

Там кварц и пустая порода предварительно дробятся и попадают на транспортеры. По бокам его стоят женщины и отбрасывают пустую породу на транспортеры, ведущие к отвалам. Обогащенная порода, издробленная потом еще дополнительно, попадает на так называемые валковые мельницы. Мельница – тяжеленных два катка на короткой горизонтальной оси. Ось эта вращается вокруг оси вертикальной, в результате чего широкие катки катятся с трением по кольцевому, под ними, желобу. Внешне это похоже на вращение катков почти на месте.

В желобе находится слой ртути, на которую подаются кварцевая порода и вода. Все в желобах перегирается до тончайшего помола и взмучивается в воде. Микронные частички золота захватываются ртутью, как говорят, «амальгамируются» в ней – попав внутрь ртути, из ртути выйти уже не могут. Так постепенно ртуть насыщается золотом, а мусть от пустой породы накапливается на хвостохранилище фабрики.

Когда концентрация золота в ртути становится достаточной, все останавливается.

Смесь ртути с золотом вручную закладывается в холщевые мешки, и содержимое мешков в лаборатории сжимается на прессе точно так же, как при производстве творога. Получается серебристая творожистая масса – насыщенная золотом амальгама.

Далее амальгама попадает на так называемую «отпарку».

Попал как-то и я на отпарку.

По известной причине на этой процедуре люди должны меняться: человек манипулирует с золотом.

Приходишь, положим, на работу, а тебе говорят из отдела кадров: «Анатолий Иванович, бросай все. Иди на отпарку!»

И ты точно заболел, и на работе нет тебя!

Иду в золотую кассу приискового управления, беру мешки с опечатанными стальными цилиндрами. В них – амальгама. Помню, 62 килограмма.

Тут уже сани с лошадьёю и дед с наганом. Едем к маленькой рубленой избушке на территории фабрики. Втаскиваю все внутрь. Дед с наганом устраивается в сенях.

В избушке две маленькие комнатки. В одной – обшитый оцинкованной жестью стол с бортами, хорошо освещенный лампой, в другой – печь. (Перед входом уже – воз дров).

Раскрываешь цилиндры и высыпашь смесь ртути с золотом на стол. Из техники безопасности – вытяжной вентилятор.

Заворачивашь горсть амальгамы в пергамент и укладывашь сверток в изложницы (подозреваю, экспропрированные в Золотопродснабе – формы для выпечки буханок). Мешочки, в которых отжимали золото, выполаскивашь в ведре воды и со дна его пальцами извлекаешь осадок.

Все 62 килограмма в изложницах!

Затем снимаешь с вмурованной в печь толстенной трубы торцевую крышку. В трубу вставляешь изложницы. По периметру крышки из асбестового шнура делаешь новое уплотнение, крышку устанавливашь и затягивашь ломом.

Далее начинаешь топить печь. Из толстенной трубы на улицу ведет тонкая водопроводная трубка, конец которой опущен в ведро с водой.

Печь разогревается, и пары ртути по трубке идут в ведро, где ртуть и оседает.

Топишь долго, часа четыре. Условно считается, что все пары из толстенной трубы ушли в ведро.

Когда печь остывает, снимаешь крышку (вдыхая, конечно, пары ртути) и вынимаешь изложницы. Бумага в них выгорела, но лежат в них колбаски пористого золота. Эти колбаски укладываешь в цилиндры.

Далее, по идее, должен быть подан гужевой транспорт, чтобы отвезти золото в кассу.

Но лошадь не пришла. И пришлось мне, под конвоем деда с наганом, лишь только одного золота (тридцать два килограмма, как обнаружилось в кассе) тащить на своем горбу.

Парень я был крепкий, несколько сот метров одолел.

Из печальной этой истории положительного осталось лишь то, что мало найдется людей, тащивших на себе столько золота.

Чем сейчас и хвастаюсь.

Хвастаюсь и тем, что граммов двести-триста мог приватизировать. И никто бы шуму не поднял: точное количество золота в амальгаме никто не знает.

Но обеднить золотой запас страны я постеснялся.

Ясно, что все работники фабрики, так или иначе, вдыхают пары ртути...

Ясно, что в хвостохранилище тоже скапливается ртуть. И вся прилегающая зона, в той или иной мере, оказывается ею отравленной.

Зимой, когда не было песка, вынуждены были мы штукатурить жилые дома, заменяя в растворе песок пылью из хвостохранилища.

Будь я проклят!

Так достается это золото – за счет не дожитых жизней, за счет отравленной и изуродованной природы.

Я не люблю золото.

Рассыпное золото добывается с помощью мощных плавающих средств – драг.



Относительно небольшая 250-литровая драга. (Объем каждого черпака на черпачной цепи – 250 литров.

Положим, в узком ручье долины обнаружено золото. Вают лес по берегам, создавая дражный полигон, где золото, по данным геологоразведки, может быть, и бульдозеры ведут «вскрышные» работы – снимают верхний, переплетенный корнями, слой земли.

Тут же ручей с помощью дамбы превращается в некое водохранилище, и на берегу его строится драга, которая, как корабль, на воду и спускается.

Драга – это громадная плавучая платформа, содержащая спереди могучее черпаковое устройство в виде черпаков на раме количеством около семидесяти и емкостью 250–350 литров каждый. Бывают драги и 500-литровые, бывают и значительно больше.

Я пишу о 250–350-литровых потому, что они были на приiske.

Своими черпаками, уходящими вглубь под воду, драга вычерпывает грунт. Грунт идет на грохота. В них мелкая фракция, обильно орошаемая водой, проваливается вниз, а крупная, посредством длиннейшего транспортера –

«стакера» – вываливается позади драги. Самые крупные самородки теряются. Но их процентное содержание ничтожно, поэтому на них не обращают внимания. И, все-таки, когда люди идут по отвалам, они смотрят под ноги. Бывает, находят крупные самородки.

Мелкий гравий, прошедший через отверстия в барабане грохота, с потоком воды, подается на наклонные лотки (угол наклона один к шести), устланные по дну резиновыми ковриками. Коврики имеют сверху невысокие густые ребра, между которыми частички золота, как более тяжелые, и задерживаются.

Драга вращается вокруг одной из двух мощных свай на корме, подвешенных на раме (одна свая висит, другая, под своим большим весом сброшенная с рамы, воткнута в дно котлована). Поворот драги осуществляется путем натяжения тросов, идущих от носа к «мертвякам» на берегу.



Самородки такой крупности, как левый самородок, драга не улавливает.

Итак, драга вращается вокруг свай, а черпаковая цепь выбирает грунт. Иногда черпаки цепляются за скальную породу дна. Тогда вся драга с грохотом отдает назад. Вообще, работа драги слышна в горах на километры.

Когда поворот, положим, вправо, закончен, сбрасывается свая с левого борта, а правая поднимается. Получилась другая точка поворота драги. Драга начинает поворот влево, а черпаковая цепь выбирает новые участки породы.

Так драга, «зашагивая», и движется вперед. За нею тянется ручеек. Драга вырабатывает перед собой постоянно перемещающееся водохранилище, перемещаясь на плаву в ней сама. За собой драга оставляет правильную гряду переработанной породы.

Периодически на драгах производится «съемка золота». Драгу останавливают, и, в основном, женщины начинают снимать и выполаскивать резиновые коврики прямо в ведре с водой. Осевшее на дне ведра золото собирается и складывается на столе начальника драги, по сути, капитана ее.

(Все работающие на драге называются матросами.)

В одну из таких «съемок» на драге вблизи поселка приехал ко мне в гости мой друг еще с самого детства, одноклассник по школе и одноклассник по институту, Юра Пинус. Работал он в тех же краях, в Райчихинске.

Посадил я его на мотоцикл и повез на одну из драг. Кликнули мы начальника, и за нами прислали лодку.

Посмотрел Юра на все, подивился. А потом завел его в пустую каюту начальника. Посреди выстроганного деревянного стола лежала гора золота. И погружали мы руки в эту гору, перебирая пальцами округлые, с копеечку и меньше, выпуклые пластинки золота.

Читающему эти строки такое кажется невозможным. Но это было так. Люди, добывающие золото, смотрят на него не нашими – другими – глазами, видя в золоте лишь месячную зарплату и премии.

Поскольку в тех краях теплое время года короткое, делается все, чтобы весной драги начали работать пораньше. Лед, как было сказано, намерзал на воде толщиной до двух метров. Справиться с ним весной было трудно. Поэтому осенью, когда уже работать было невозможно – драги начинали

вмерзать, – делалось следующее.

Под днище драги вдоль бортов, устанавливались «мальчики» – бревна, упирающиеся в дно драги и дно водоема. Делалось это просто. Промерялось расстояние от днища до дна, отпиливали полученной длины бревно. К нему сбоку приколачивали шест. И с помощью шеста бревно устанавливалось под водой. Мороз быстро все прихватывал, замерзало и водохранилище. И когда лед на нем достигал требуемой толщины, уровень воды понижали. Драга зависала на «мальчиках», а подо льдом водохранилища создавался слой утеплителя – воздуха. Температура воды подо льдом положительная – снизу ее подогревает земля, и слой льда, зависшего на бревнах, практически не утолщался. Не замерзала и вода под ним.

Это и позволяло самой ранней весной поднять уровень воды в водохранилище и освободить его ото льда небольшой толщины, поднять драгу наплаву, убрать «мальчики» и начать работу.

Не менее интересно производился ремонт бортов и днища драги.

На бортах драги лед, естественно, намерзал толстым слоем. В нужном месте его начинали срезать. Фронт промерзания опускался ниже и расширялся. Но его срезали и срезали, образуя у борта ледяную яму. Потом, когда дно ямы опускалось значительно ниже днища, начинали срезать лед и под ним, заходя под драгу. Работа велась и под водой, и под драгой в ледяной норе, пока не доходила нора до места ремонта днища, например. Проржавевшие листы стали удалялись, и наваривалась заплатка.

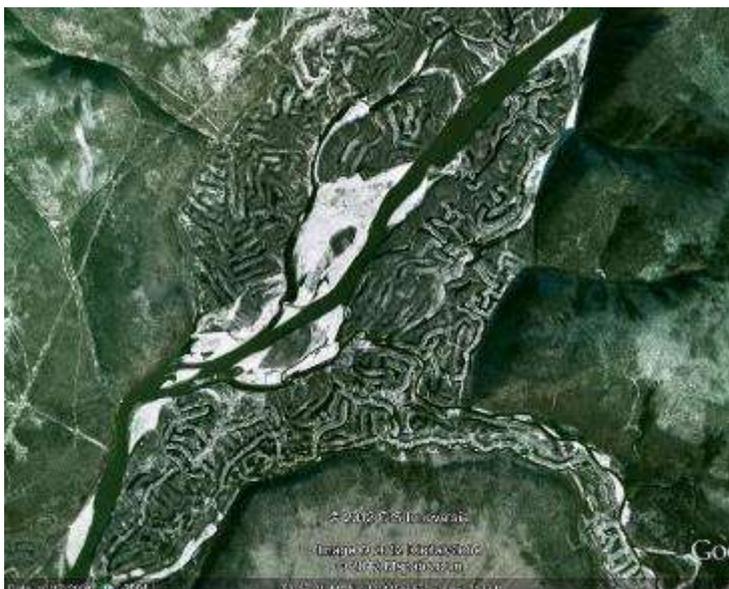
Выморозка драги – ответственная работа, требующая опыта. Нужно хорошо чувствовать толщину льда, за которым вода. С одной стороны, нужно оставить возможно тонкий слой льда – чтобы быстро утолщался он в воде. С другой – опасно пробить стенку льда. Успеешь мгновенно выскочить – твое счастье!

Лед, по сути, сбивают остро отточенной кайлушкой.

Удивительное это зрелище – громадный корабль,

идущий сквозь тайгу!

Но для природы это большой урон: громадные территории прежде живого леса напоминают лунную поверхность. Природный рельеф, формировавшийся тысячами и миллионами лет, нарушается навсегда. Тайга невероятно медленно восстанавливается, и так называемые «дражные полигоны» не зарастут и не примут естественный вид, можно сказать, уже никогда.



Вот что оставляет за собою драга.

Такое оно – золото!..

Урожайный след оставляет оно за собой и в душах человеческих, и в человеческих жизнях, и на земле, предназначенной для человечества.

Видя золото, я об этом не забываю.

Плановая себестоимость золота была рубль семьдесят за грамм.

Сейчас, как я узнаю, цена золота более 40 долларов за грамм.

Если здесь покопаться, то найти можно уму непостижимое.

Нам она обходилась в два тридцать. Мы считались предприятием нерентабельным! Но премии получать хотели. Нужно было лишь выполнить план по валу.

Поэтому Вайзеров к концу каждого полугодия вызывал к себе и говорил:

– Переходим на мебель!

И вся наша столярная мастерская на строительство уже не работала, а начинала делать табуреты, столы, шкафы и еще всякое. Качества оно было сомнительного, но стоило это уже довольно дорого, в особенности, ящички для транспортировки золота. Те стоили очень дорого! И горами вышались они в столярной мастерской.

Как ни странно, план по валу мы вытягивали и получали премии!

Золото отправляли в Новосибирск самолетами.

В прежние времена его возили отряды красноармейцев на санях или телегах, вооруженные даже пулеметами.

Были попытки доставлять по реке на лодках, но те почему-то переворачивались, люди тонули, а золото на дне не находили.

Алик Бергман

Отец Алика был знаменитым бурильщиком. Награжден орденом Ленина. Но я его уже не застал. Сидел он там как немец – у нас много немцев было. И должен сказать, все они были хорошими мастерами своего дела. Плотниками, печниками, бурильщиками – неважно.

Алик пошел по стопам отца и тоже стал превосходным бурильщиком. Правда, при своем исполинском росте он с трудом умещался в низкой щели блока. Но бурил, лежа на боку, и как-то умещался. Навещал я его под землей в щели и видел, как он работает.

Популярность Алика росла, и его тоже наградили орденом.

Высокий, выше двух метров, атлетически сложенный красивый парень с приветливым лицом, он был любимцем поселка.

Учиться ему было некогда – все время забирала работа.

Но как-то подошел он к окончанию вечерней средней школы, и ему пошли навстречу. Чтобы достойней он окончил школу, чтобы смог сдать вступительные экзамены в вуз, перевели его в отдел нормирования. И стал Алик лишь делать пробные бурения на предмет определения твердости пород на том или ином участке. По доброте душевной, чтобы его друзья-бурильщики зарабатывали побольше, твердость глинистых сланцев им немного завывшалась.

Поскольку в забоях он стал бывать реже, многое из изменений под землей он не знал. Не учел также, что работала подъемная машина, которую я устанавливал над шахтой, ведущей к нижнему горизонту, что работают уже две клетки – одна, например, спускается, другая поднимается.

Находясь вблизи шахты, увидел он, как новички-шахтеры пытаются подцепить к клетки снизу рельсы для узкоколейки нижнего горизонта, но не могут завести их в шахту – мешает свод штольни. Алику же хорошо знакомо было, как это сделать. Поэтому он смело уложил над стволом шахты доски, стал на них и начал покрикивать машинисту подъемной машины, что тому надо делать. Все складывалось хорошо, но в последний момент бесшумно подошла снизу другая клеть.

И зацепила доски.

И проделал Алик тот путь, который могла проделать когда-то моя голова – ушел он на триста метров вниз.

Лежал Алик в гробу внешне совершенно целый – никаких признаков увечий. Но скелет его был раздроблен полностью.

Не стало хорошего парня – нашего Алика Бергмана.

Охота, рыбалка

Охота и рыбная ловля были отдушиной в той жизни. Поэтому ими занимались практически все мужчины. Почти у всех в доме были ружье и мотоцикл (автомобили тогда лишь начали появляться).

Сев на мотоциклы, мы первым делом приезжали на берег Селемджи к гостеприимному нашему егерю Чеботаеву Дмитрию Ивановичу. Многие предпочитали ехать по дороге

вдоль реки дальше, но я с несколькими своими товарищами больше любил переночевать у него.

Был у Дмитрия Ивановича небольшой огородик, но выращивать на нем что-то не было уже никакой возможности: почти весь он был вплотную уставлен пустыми бутылками. Строгими рядами с наклоном в одну сторону. Кажется, эта посуда была своеобразной памятью о каждом, посетившем этот дом.

Жил Дмитрий Иванович со всеми любимой тетей Лизой, высокой, стройной якуткой, неутомимой охотницей.

Сам Дмитрий Иванович – худощавый, в прошлом был моряком дальнего плавания и потому имел роскошную татуировку на морскую тему.

Было у него очень хорошее ружье редкого, десятого калибра, так называемое «садочное», или «утятница». Предмет зависти всего Токура. Изготовлено оно было по специальному заказу: на нем глубоко выгравировано было: «Чеботаев Дмитрий Иванович».

К егерским обязанностям своим Дмитрий Иванович относился творчески, никаких запретов на охоту не соблюдая. Оттого и популярен был и уважаем.



У Чеботаева Дмитрия Ивановича. Дмитрий Иванович тестирует наши спиннинги.

Многие приезжали к нему после работы, чтобы рано

утром порыбачить или посидеть с ружьем на зорьке. Поэтому в доме его была большая пустая комната, на полу которой вповалку мы, отметив встречу, на ночь и устраивались.

Как-то рано утром (мы еще спали) Дмитрий Иванович пошел на уток. Не прошло много времени, как мы услышали мощный выстрел его ружья.

– Мазила, – раздалось из комнаты тети Лизы. Каково же было наше удивление, когда Дмитрий Иванович, смущенный неудачной охотой, появился в доме.

– Я по звуку определяю, когда он мажет, – пояснила тетя Лиза. Взяла она бинокль, ружье и вышла тут же вместо мужа. И принесла утку!

С величайшим удовольствием вспоминаю время, проведенное у Дмитрия Ивановича и тети Лизы! Были они просты в обращении, приветливы и добры к нам.

Только выйдя за калитку, устраивались мы со спиннингами на берегу быстрой Селемджи, и уловы наши почти всегда были хороши.

Ловили сига, тайменя, по ночам «лучили» хариуса.

Но чаще садились в «оморочи» – узкие длинные лодки с подвесным мотором – и шли по реке к самым глухим местам. Хотя любое место там можно было считать глухим: на многие километры от Дмитрия Ивановича никто не жил. Лишь почти за сто километров были у реки редкие якутские стойбища.

Завидев издали уток на воде, на полном газу мчались мы на них. Пока утки тяжело взлетали, мы были уже на расстоянии выстрела и били их влет у самой воды.

Способ охоты, несомненно, варварский.

Рыбу ловили не только спиннингами. Ловили и сетями. Попадалась иногда очень крупная рыба. Привозили мы тайменей и по десять килограммов, и больше. Самый большой пойманный таймень был около двух пудов весу. Мясо его вкуснейшее.

Таймень очень сильная хищная рыба с громадной пастью.

Был свидетелем того, как таймень, которого снимали

с крючка, очень серьезно прокусил парню палец. Впервые видел, как рыба, точно собака, бросилась на человека.

Сиг! Что можно сказать о нем, если сиг принадлежит к лососевым!

И, все-таки, о сиге прочел нехорошее. В нем скапливаются вредные металлы. И подумал я о том диком количестве ртути, которое нам привозилось и от нас попадало в воду и землю...

Но самое увлекательное было «лучение харюзов» – как здесь называли хариуса!

На прииске оставалось от прежних лет много карбидных ламп.

Берешь ночью в левую руку такую лампу с отражателем – чтобы не слепило тебя. В правую – острогу с пятью семью зубцами; и в высоких, с ботфортами, резиновых сапогах бредешь вдоль берега против течения.

Хариус спит, держась в потоке абсолютно прозрачной воды легкими повиливаниями хвоста. Не вздумайте бить его острой! Хариус, при малейшем всплеске воды, столь стремительно выстрелит вперед, что острога вонзится в дно. Поэтому медленно подводишь острогу к поверхности воды и резко бьешь сантиметров на десять перед головой рыбы. Только тогда у тебя есть шанс наколоть ее на острогу.

Хариус считается вообще царской рыбой. Красив – очень! Светясь особым серебристым цветом, он переливается и другими восхитительными цветами – от красного до фиолетового.

На боку у тебя сумка, в которую хариуса и опускаешь. Рыба это небольшая, сантиметров двадцать пять длиной. Но сумка твоя через час-другой явно тяжелеет.

Лучил как-то хариуса работник нашей пожарной охраны. Водил-водил карбидкой влево-вправо, и что-то ему подсказало осветить берег. И увидел он в пяти метрах от себя на берегу медведя! И заорал он от страха что есть мочи, бросив все и бросившись в воду от берега:

– Ура! Медведь! Ура-а!!!

Это «Ура!» ему так и не забыли.



Медвежьи следы, обнаруженные мною с Витахой, неподалеку от Токура.

В тайге наши интересы, в основном, сводились к рябчикам.

Птица это уникальная. Сидит, положим, под лиственницей, кормясь изобильной здесь брусникой. При твоём приближении с величайшим шумом вертикально и тяжело взлетает и садится тут же на дерево. Часто их бывает целый выводок, тогда шум их взлета невероятный.

Брать рябчиков нужно только малопулькой – чтобы не разбить дробью и не испугать взлетевших рядом.

Щелк – рябчик падает. Соседи с удивлением – чего это он? – вытягивают шеи, чтобы посмотреть вниз. Щелк – падает другой. Затем третий. Весь выводок!

Но есть совершенно уникальный – так называемый подкаменный рябчик. Он крупнее собратьев и вокруг глаз у него красный ободок.

Тот вообще не боится человека! Якуты никогда его не трогают. Только тогда, когда якуту угрожает голодная смерть в тайге, он имеет право вручную поймать рябчика и утолить голод.

Мы же, со своими представлениями «хватай, что

плохо лежит!», в подкаменных рябчиков в упор стреляли.

Помню, на охоте подошел я к одному из многочисленных «ключей» – ручьев, что текут в каждом распадке гор, – и стал высматривать, где мне удобней перебраться – поперек ручья всегда найдется поваленное дерево. Нечаянно опустил взгляд и увидел пару подкаменных рябчиков, сидевших в двух шагах в кусте и уставившихся на меня.

От удивления я, даже будучи один, воскликнул: «Рябчики!». Рябчики вспорхнули и сели тут же, в пяти метрах, но на другом берегу.

Насколько вкусен рябчик, сказал Маяковский:

Ешь, ананасы, рябчиков жуй!

День твой последний приходит, буржуй!

Ананасов у нас не было, но рябчики были.

Водились у нас и соболи, и горностаи, и кабарга, и еще всякая промысловая живность.

Зимую, когда фронт работ сужался, некоторые из строителей превращались в промысловиков-охотников.

Помню, встретил я такого сезонного рабочего, возвращавшегося из тайги. Не берусь описать его. Нелегко это. Но была на нем некая печать жизни в одиночку, в тайге, в лютые морозы. Не только лицо было каким-то серым, но и верхняя одежда, долго не снимаемая, обмякшая на нем и пропитанная дымом костров и потом от неутомимой ходьбы по тайге, – выдавала таежника.

За плечами был у него рюкзак. Сняв его, таежник показал мне на дне шкурки горностаев, количеством около двадцати, как, помнится, он сказал. С удивлением и восторгом уставился я на бело-черные хвостики, такие же, как украшавшие шубы царей.

Горностаев я не видел, но соболей приходилось.

Заготавливали мы на зиму витамины, в основном грузди и бруснику. Грузди солили в бочках, а бруснику,

также в бочках, выставляли на мороз в сенах. Выскочишь, бывало, за дверь, зачерпнешь кружку брусники и, точно воду, пьешь ее потом из кружки. Прекрасно утоляла жажду. Очень вкусная ягода.

И груздей, и брусники росло много.

Брусника – та, вообще, ковром лежала на земле. Собирали ее специальными грабельками с емкостью для накопления сорванной ягоды. Елозишь по ярко-зеленым кустикам ее, что растут на мху вплотную друг к другу, и емкость наполняется. Брала с собой большие заплечные ящики. Пару ведер можно было собрать за час-полтора.

За грибами и ягодами этими устраивались специальные выезды в тайгу – чтобы не тащить на себе собранное.

Завалы

Охотились мы не только летом, но и поздней осенью, когда тайгу накрывал первый снег, а по реке можно было плавать на оморочах.

Это было и время поджигания бесконечных «завалов» – стволов деревьев, вынесенных весной в половодье на косы и повороты русла реки. Поджигание завалов одобрялось, поскольку они мешали течению реки. Тайга была уже под первым снегом, поэтому пожары исключались.

Завалы были громадными. Пока бурная река несла стволы, кора на них сдиралась, терялись сучья и ветки. Высохнув за лето, лежали горы ошкуренных бревен на берегу.

Выехав после работы, к концу дня, на охоту и устроившись где-то на берегу, мы их поджигали. Разгорались они быстро. Огонь рос и рос, все сильнее гудя и образуя сильнейшую тягу. Дым поднимался такой высоты, что, казалось, сливался с тучами. Мы сидели на значительном расстоянии от огня и готовились к ни с чем не сравнимому охотничьему пиру.

Набрав в реке воды в чайник, кто-нибудь из нас, прикрывшись фуфайкой, бежал к огню и ставил чайник метрах в десяти-пятнадцати от него. Проходило немного времени, и крышка на чайнике начинала подпрыгивать. Снова, натянув на голову чью-то фуфайку, кто-то бежал и приносил чайник.

Перед вечерним пиршеством оттаскивали мы от завала стволы потоньше и устраивали на промерзшей

гравийной косе немалый свой костер. Гравий прокаливался под ним почти на полметра.

Тогда мы костер разбрасывали, накрывали его толстым слоем соснового лапника, а поверху натягивали громадный брезент. В одежде вповалку укладывались спать на брезент и накрывались еще одним брезентовым пологом.

Ночью мороз безжалостный, а мы под брезентом – точно в бане! Да с еловым духом! Да еще на свежем таежном воздухе! Спалось прекрасно!

Утром садились в оморочи и плыли дальше по реке, в самые глухие охотничьи места.

Ночевали мы и в больших наших охотничьих палатках, человек на десять. В центре палатки стояла буржуйка, и труба ее через широкую жестяную разделку выходила наружу. Но, как ни топи буржуйку, к утру в палатке становилось на морозе холодно.

Мотоцикл

Было у нас такое подразделение – Золотопродснаб. Занималось оно поставкой продовольствия, выпечкой хлеба, изготовлением великолепнейшего кваса из таежных ягод.

Крышка бутылки кваса слетала с выстрелом, а над горлышком висело облачко тумана.

Распарившись в баньке, перед выходом из нее, мы прикладывались к этому напитку, и он великолепно приводил нас в бодрое состояние. Продирал он нас до слез.

Но не только продуктами снабжал Токур этот продснаб. Снабжал он нас буквально всем – вплоть до иголок и ниток. Кроме этого, через него происходила, в частности, покупка мотоциклов – в том краю без них не жизнь.

Мотоциклы приходили по судоходной части реки Зея на пристань Норск. Но наш Золотопродснаб не желал тащить их по тайге и горам к нам. Поэтому, оплатив мотоцикл в Токуре, нужно было самому добираться до Норска, а возвращаться на своем персональном транспорте.

Еле-еле отпросился я у Вайзерова на один рабочий

день и вечером, после работы, сев в автобус, поехал за вожделенным мотоциклом.

Рядом со мною сел незнакомый мне милицейский чин из Экимчана, что был неподалеку. Милиционер нервничал, считая, что мы продвигаемся не столь быстро.

К моему удивлению, он остановил автобус в одном глухом месте тайги и предложил мне пройти с ним.

– Я кое-что покажу, – пообещал.

Быстро шли мы по заросшей тропе, и вдруг я оцепенел: увидел я в краю, приравненному по климатическим условиям к Крайнему Северу, мою Украину! Это был настоящий украинский огород! С огромными подсолнухами, маками, кустами ягод и другими посадками!

Никакого дома возле этого райского участка земли не было, но заметил я выступающее из-под нее что-то вроде большого погреба, с двускатной крышей, поросшей дерном, опускавшейся до земли.

Никаких окон не было, была лишь дверь, в которую мы и постучали.

Она вдруг распахнулась, и перед нами вымахнул вверх молодой гигант-китаец! Настоящий китаец, раскосый, но с большими красивыми глазами, желтый, особенно в свете заходящего солнца. Был он в белых полотняных штанах и рубашке. Штанины и рукава были закатаны, и я поразился мощной его мускулатуре. Казалось, будь у него плохое настроение, схватит он нас за шиворот, стукнет лбами и исчезнет в дверном проеме.

Но далее произошло нечто совершенно невообразимое. Этот могучий человек вдруг униженно залепетал перед милиционером, кланяясь и сгибая колени.

– Ну, показывай свой огород! – грозно приказал милиционер.

Забегая вперед, что-то лопоча, подвел китаец нас к посевам мака. Каждая маковка была любовно ухожена. Вокруг стебля правильными конусами была сформирована земля, но каждая маковка имела горизонтальные шрамы от надрезов. Я понял, что это надрезы для сбора макового сока и получения из него наркотика.

Пока милиционер общался с китайцем, я заглянул внутрь домика. Уходил он глубоко под землю, метров на

семь-восемь. Размером в плане метра три на три. По высоте ярусами были устроены нары. Горел там какой-то светильник, и я успел разглядеть толстую русскую бабу, а еще ниже – сморщенного, точно с китайских ваз списанного, старика-китайца. Был он невероятно худ, с длинной жиденькой бородкой. Во рту его была трубка. На тончайшем длинном чубуке посвечивала крошечная чаша.

Сидел он, совершенно отрешенный от мира, попыхивая своей трубочкой.

Когда пересчитаны были маковки, мы заторопились назад к автобусу.

– Беда с этими китайцами, – рассказывал по дороге попутчик. – Не могут жить без наркотиков. Решено было разрушить все их посевы. Так они стали семьями вешаться. Решили контролировать посевы – чтобы выращивали только для себя. Вот приехал, пересчитал. Но у него в тайге могут быть еще, как угодно, большие посевы.

В темноте уже приехали в Норск. Утром вышел на пристань. У пристани стоял пароходик. Дюжие мужики по широким гибким доскам выносили из трюма на берег тяжелые мешки.

Выдали мне мой ИЖ-56, и помчался я, счастливый, по красивейшему тому краю в Токур.

До сих пор помню эту поездку!

Нужно сказать, что о правах на вождение у нас там никто понятия не имел. Да и некому там было следить за правилами дорожного движения.

Когда уже вернулся я в Харьков, получил от добрейших соседей моих Федоровых письмо, в котором говорилось, что купили они «Волгу» и так разогнались по горной дороге на ней, что проскочили между двух лиственниц. И стала их машина немножко выше и уже. Так потом и ездили.

Бысса

Был у нас на участке Бысса кирпичный завод. Он и поставлял кирпич для стен фабрики.

Что-то у них там с технологией не ладилось, и меня послали разобраться.

Токурянину Каверзину нужно было побывать в Быссе, и мы с шофером Тропиным отправились в Быссу.

О Каверзине должен сказать особо.

Был он высок, строен, с правильными чертами не по годам молодежавого лица. Говорил высоким, почти мальчишеским, звонким голосом.

Архангел Михаил, устав к вечеру, не читая биографии, мог бы махнуть рукою в сторону рая:

– Иди! Вижу – достоин ты!

И ошибся бы Михаил! Путь Каверзину быть должен в самое жаркое пекло, к самым безжалостным чертям: был Каверзин у немцев шофером душегубки!

Как-то я спросил у него:

– Как ты дошел до жизни такой?

– А если не я, то другой был бы на моем месте. Жрать хотелось! – был ответ.

И за эту свою «жратву» не был Каверзин расстрелян, а попал в лагерь Токур.

Был февраль месяц, ехали мы по замерзшей Селемдже.

Какие, казалось бы, проблемы? Лед толщиной два метра – езжай смело! Но Селемджа – горная река. И истоки ее начинаются высоко. Поэтому, когда лед начинает утолщаться, сужается поток воды. Давление подо льдом начинает расти, и в каком-то месте двухметровая толща льда вдруг взрывается, фонтан взлетает вверх, и вода мощным потоком устремляется поверх льда. Были случаи гибели от мороза шоферов, когда их машины вмерзали в наледь.

Наледь, частично замерзшая, ожидала и нас, не доезжая Стойбы. Под мрачно известной Черной Сопкой образовывалась она регулярно.

Скопились машины перед шугой с двух сторон.

Нужно сказать, что чувство взаимопомощи в тех местах весьма развито: не поможешь другому – не помогут тебе. А условия жизни в тех краях полны опасности.

У каждого шофера в кузове жесткий буксир. Для

того, чтобы протолкнуть переднюю машину через наледь (колеса скользят по льду) несколько машин сзади, сцепившись, проталкивали ее через месиво льда и воды. Выбравшиеся на другую сторону шоферы не уезжали, сцеплялись вместе и вытаскивали тросом следующую машину. Так, общими усилиями, машины и преодолевали непроходимое место.

Приехали мы в Быссу, остановились у десятника поселка. И показал он нам в прошлую ночь убитую рысь, что забралась к нему во двор. Хищница нас весьма впечатлила – не хотелось встретить такую в тайге.

Побывал я на заводе и дал свои ценнейшие указания, принятые с благодарностью, но не без хитринки в глазах.

Мы, переночевав еще раз, рано утром, в воскресенье выехали назад.

И, естественно, надеясь, что мороз с водой справился, подъехали к Черной Сопке одни. Стали пробираться через гиблое место и сломали полуоси!

Что было делать?

От Стойбы до ближайшего Коболдо (зброшенного прииска, в котором уже почти никто не жил) по реке более ста километров. Мы ближе к Стойбе, но возвращаться не хотелось. Пройти пешком около шестидесяти километров, нигде даже не присев (потом не встанешь!), нереально. Я предложил жечь костер и ждать проезжающих в понедельник машин. Тем более, что у нас был мешок картошки. И тем более, что бывали случаи, когда шоферы жгли свои колеса, но дожидались помощи.

К моему удивлению, более опытные таежники решили идти.

Пошли.

Тропин взял с собой топор (следов рысьих было много), а у меня была моя малопулька.

Шли дружно. И мне показалось, что одолеем мы длинный свой путь.

Но, когда стало темно, когда не видишь хорошо, куда ставишь ногу на бугристый лед, стали мы – вначале изредка – падать.

Настроение поиспортилось, но Каверзин, чтобы

подбодрить нас и себя, стал петь антисоветские песни. Знал он их много. И за любую можно было смело, по тем временам, давать срок. Мы повеселели. Затем песни закончились, и шли мы, молча и все чаще падая, и все медленней поднимаясь на ноги.



У Черной Сопки. Отправляемся в путь. Слева – Каверзин с моей винтовкой.

Затем уже упавший и продолжал лежать, прося дать

ему немного отдохнуть. Но мы безжалостно били такого ногами и заставляли подняться. Помню и я тяжелые удары по своим бокам.

На что мы надеялись? Надеялись продержаться ночь, а при свете, считали, нам будет легче идти.

Силы, однако, наши истощались. И в таком полусумеречном состоянии почувствовал я, что пахнуло теплом. Глянул на скалу, вертикально обрывавшуюся в реке, и мне показалось, что есть в ней пещера и что теплом тянет оттуда. Предложил свернуть к ней. Но лишь иронический смех был мне ответом. Никакой пещеры не было. Она мне почудилась.

Была река, леса по берегам, горы и безжалостный, все живое убивающий, лютый мороз.

Двинулись дальше.

Но видения меня не покидали. Виделась мне освещенная лишь светом звезд в небе рысь, готовая к прыжку на меня. И понимал я, что в этой ледяной пустыне имеет она полное право сожрать меня – иначе ей смерть.

Странное это состояние, когда ты жив, но начинаешь понимать, что жить тебе осталось немного.

Вначале мысль о смерти, точно молния, пронизывает тебя. И все твоё существо вскидывается, активизируется, противясь пришедшему в голову. И ты с внутренним гневом отбрасываешь эту мысль. Мысль о том, что никогда не увидишь близких, мысль о том, что непреходящим горем обернется для них твоя смерть (как же они будут жить без меня?!) кажется противоестественной.

Но потом, очень и очень постепенно, приходит мысль успокаивающая, что как-то они проживут, что не так уж страшно, если они останутся без тебя.

И равнодушие к себе охватывает тебя всего. И самым большим желанием является тебе мысль – любой ценой избавиться от своего мучительного состояния. Хотя бы ценой жизни. И сама смерть не кажется такой уж страшной. Лечь, тут же заснуть и не проснуться – как просто!..

И вот, бредя в таком состоянии, падая и поднимаемый на ноги ударами ног попутчиков, вспомнил я, что когда-то на оморочах проплывали мы мимо этих мест. И возвышалась над берегом, фронтоном к реке, покинутая маленькая

рубленая избушка. И рассказали мне, что жил в ней с женой какой-то якут. Но ворвался к ним медведь и убил обоих. Поэтому и пользовалась эта избушка недоброй славой.

Наверное, перед смертельной опасностью просыпается в человеке что-то первобытно-животное. И обостряются все органы чувств, настолько, что человек о том и не предполагал.

Как бы то ни было, но звериным каким-то чутьем почувствовал я (или в блеклом свете ночных звезд увидел едва – не знаю!) сливающийся с черным лесом, черный же, треугольный фронтон той избушки.

К моему предложению свернуть с дороги в глубокий, по пояс, снег попутчики отнеслись с неожиданным пониманием.

Понимали, что вернуться на дорогу у нас уже не хватит сил, но что это последний шанс. Да и знакома была им эта избушка. Не было лишь уверенности, что именно здесь она.

Выдернули мы из валенок штанины, натянули по верх голенищ, и вошли в снег.

И избушка на фоне черного леса стала вырисовываться явственней!

Из последних сил рванулись по снегу мы к ней! И, в разочаровании, остановились. Окна на ней зияли пустыми глазницами...

Но одолели мы к ней крутой подъем, и радости нашей не было границ: вторая половина избушки была остеклена!!!

Посреди комнатки стояла буржуйка, над нею на проволоке свисал мешочек с пшеном, в печурке уложены были сухие щепки. Рядом – поленья дров. В углу – нары с сеном.

Затопили мы печурку и тут же завалились спать. Какая там каша? Спать и только спать – было самое сильное желание! Наутро, проспав часа четыре, накололи мы щепок, нарубили дров (на чердаке была двуручная пила). Оставив все как было (таежный закон!), не поев даже, вышли на реку. Перед нами далеко просматривалась Селемджа, над нею всходило солнце.

Настроение у нас было приподнятое.

В речной дали увидели мы какую-то черную точку.

Точка как точка, но временами она закрывалась чем-то ослепительно белым. И мы догадались, что это застрявшая, как наша, машина. И шофер периодически газует, пытаясь сдвинуться вперед. На лютom морозе выхлопной газ, действительно, светился под солнцем в особенности. Если белое облако закрывает точку – значит, машина не встречная и может в любую минуту уехать.

Решили выстрелить. Поднял я повыше свою малопульку и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Передернул затвор и стал изучать винтовку. И оказалось, мороз был таков, что боек смазанного затвора лишь лениво подползал к пуле и упирался в капсюль.

Вытащил я затвор, сунул под фуфайкой под мышку, согрел и, быстро выставив винтовку, наконец выстрелил. Ответного выстрела не последовало. Значит, нас не услышали, решили мы и ускорили шаг.

Подошли к машине. В ней был молодой шофер-якут, в кабине сидел симпатичный щенок. Притащили мы две длинные слезы, подважили задние колеса и высвободили машину.

Но оказалось, что в машине есть запасная полуось, точно такая же, какую мы поломали.

Я говорил уже о чувстве взаимовыручки в тайге. И шофер согласился вернуться к брошенной нами машине и помочь вставить полуось. Общими усилиями машина наша была высвобождена и полуось поставлена! Мы могли ехать далее.

И поехали.

Но недаром говорят, что усталость накапливается. Шофер наш стал засыпать и на каждом повороте врезаться в глубокий снег по обочинам. Из последних сил выталкивали мы машину на дорогу, а она врезалась в снег снова и снова. И снова, и снова, теряя последние силы, выталкивали мы ее на дорогу.

Совершенно обессиленные и измученные въехали мы в Коболдо и постучали в дверь матери Тропина, одиноко жившей там.

Дверь открылась, и я услышал дикий крик. Мать его, причитая, обнимала сына.

Не понимая, в чем дело, прошел я внутрь и,

остановившись у зеркала, отшатнулся.

На меня смотрел чужой человек, с совершенно черным лицом и бешеными, ослепительно белыми белками глаз.

Не понимаю, почему мы не видели лиц друг друга. Наверное, в своей усталости, каждый был в самом себе, и каждому не было дела до попутчика. Может быть, видели, но не замечали перемен...

Морозы

Морозы в тех краях были безжалостные. Ощущались они несколько легче потому только, что зимой ветра в долине не было совершенно. Поднимешься, бывало, утром на склон горы (дом мой был в долине на самом краю поселка), посмотришь на Токур, а из каждой трубы строго вертикально поднимается кверху высоченный столб дыма. Хоть отвесом промеряй! Необыкновенное зрелище!

Первую зиму я на все пуговицы застегивал свою фуфайку, подпоясывался широким армейским поясом. Шею обматывал теплым шарфом. И все-таки спасала меня от холода лишь быстрая ходьба. На руках моих были меховые рукавицы, но и под ними я пальцы сжимал в кулаки.

В зиму следующую пара верхних пуговиц была отстегнута, шарфа на шее не было, а на руках моих были рукавицы байковые. Пальцы в кулаки я уже не сжимал.

В зиму следующую фуфайка моя была застегнута чуть выше ремня, а на руках были солдатские матерчатые перчатки. И в этом одеянии я чувствовал себя достаточно бодро.

Так потом и ходил. Верхние пуговицы уже не подозревали о существовании их петель.

Но выйти из тепла по утрам было нелегко.

В воздухе стоял туман. Не обычный туман, а от взвешенных в воздухе мельчайших кристаллов снега.

Вдохнуть обжигающий воздух нельзя. Лишь чуть вдохнешь, и тут же, обожженные морозом, легкие импульсивно выталкивают воздух назад. Вроде как начинаешь задышаться. Проходило минуты три, когда можно было наконец раздышаться.

Если, развлечения ради, плюнуть, на снег падал

ледяной шарик.

И все-таки в эти морозы я на работу бегал. Чем вызывал большой к себе интерес всех.

Бегу, бывало, на работу в рудник. Это километра три. И все в гору. Меня, натужно рыча, догоняет старенький наш автобус с административными работниками рудника. Открывается на малом ходу дверь, оттуда кричат мне:

– Анатолий Иванович! Да кончай ты бегать! Садись – поедем! А я знай бегу себе. Дверь со смехом закрывают. И вижу за стеклами автобуса веселые знакомые лица. Машу им приветственно. Они отвечают тем же.

Но есть серьезное препятствие: бегу на таком морозе – в носу образуются ледяные пробки, полностью закупоривая ноздри и не давая дышать. И приспособился я на бегу бить большим пальцем одной руки по носу сбоку, повыше пробки, а затем – другой. От точно нанесенного удара пробки вылетали, и дыхание восстанавливалось.

За работу на морозе платили «морозные» – надбавку к зарплате, в зависимости от того, сколько градусов мороз. Конечно, делались приписки. И, думаю, справедливые. Жить при сильном морозе очень тяжело, а уж работать – тем более.

Нельзя шутить с морозом в тех местах. Прислали к нам по какому-то молодежному набору группу ребят. Разместили, естественно, в общежитии, что метрах в трехстах от клуба было. И решили эти ребята в ботиночках явиться на танцы. И побежали. И пальцы ног отморозили наисерьезнейшим образом. Все попали в больницу.

Мороз ничего не прощает. Люто и безжалостно схватывает все, что может схватить.

И я тоже переоценил свою морозостойкость. Под Новый год пошел по долине к ключу Рождественскому срубить елку. Ключ этот действительно можно было сравнить с храмом – настолько величественны и красивы в нем были деревья.

Снег глубокий, далее нехоженный. Поэтому решил пойти на лыжах. А крепления на них полужесткие, валенки

к ним не подходят. И я решил идти в сапогах. Надел теплые носки, сверху два раза обмотал ступни байковыми портянками. «Не пропаду», – решил.

И побежал на лыжах. Срубил великолепную елку и чувствую, что мороз пробрался к ногам. Совершенно безжалостно. Ясно было, что домой без обморожения ног мне не добраться.

Действительно, в такие минуты все в тебе активизируется.

И я снял лыжи, опустил штанины поверх голенищ – чтобы не попал снег внутрь сапог, вошел по пояс в снег и стал активно двигать под снегом ногами. И постепенно почувствовал, что ноги теплеют. Обрадованный, стал на лыжи и снова побежал.

Не много же я одолел. Ноги снова сковал мороз. Но я, все чаще заходя в снег, до дома все-таки добрался.

Вот так приходил опыт в тех условиях.

Каждую неделю мы парились в бане. Распарившись, хорошо надраив друг друга мочалками, отхлестав вениками, приходили в себя. И, одевшись, сидели в предбаннике, готовясь к выходу на мороз. Тут же продавался знаменитый наш токурский квас, и мы жадно пили его из бутылок, охлаждаясь изнутри и восстанавливая водный баланс в теле.

Всякого вышедшего зимой из бани можно было легко узнать: по улице шел снежный человек. Испарения от тела, пробиваясь тонкими струйками сквозь одежду наружу, тут же на морозе превращались в длиннейшие снежные нити. Нити эти сгущались, образовывались и на шапке, и на щеках, и на бровях – на всем человеке. Казалось, они готовы были образоваться на глазных яблоках. Потому что человек переставал что-то видеть. Не проходил человек и ста метров, как весь он становился совершенно белым. Так и шел он, поздравляемый с легким паром, под шутки и смех встречных.

Но потом, дома, как же приятно было нам с соседом отведать под водочку и соленые грузди жареной медвежатинки!

Малопулька

Всякий мог прийти к участковому милиционеру и,

если он не был на особом учете, взять у него документ на право ношения нарезного огнестрельного оружия.

В тех краях разрешалось даже постоянно иметь при себе нож, кинжал. И часто можно было видеть на улицах людей с болтающимися на боку, преимущественно, ножами-медвежатниками.

Хотя почти у всех были дома гладкоствольные ружья, малопульки пользовались особой популярностью. Очень уж хороши были для охоты на рябчиков!

Приобрел и я себе малопульку. И пристрелял ее так, что в заборе вокруг дома не было ни одного сучка – все были выбиты пулями.

Каждый день покупал я пачку патронов и укладывал с колена все пятьдесят штук в подвешенный тугой бумажный шар на склоне сопки.

Сопка за забором называлась Горелая: тайга по низу ее когда-то выгорела, и ближайшее к забору пространство покрыто было густой лиственничной порослью. Так метров за тридцать-сорок за забором все стволики ее были перебиты моими пулями.

Часто ко мне присоединялись соседи Федоровы: Николай, его отец Степан Власович и сын Николая, Витаха, лет десяти.

Тогда начиналась стрельба серьезная.

За двадцать пять метров втыкался колышек, расщеплялся вверху, и в щель вставляли монетку. С дичайшим воем взлетала эта монетка при выстреле!

Витаха стрелял почти наравне с нами.

Тренировки эти и забавы были нужны для жизни в тайге.

Помнится, удалось мне выстрелом (правда, из ружья) убить очень крупного тайменя, что почему-то оказался у берега. Таймень выпрыгнул из воды на землю, и шедший рядом Витаха вратарским броском накрыл его. Можно сказать, добыли мы тайменя вдвоем.

Ни разу не промазал я из своей малопульки по рябчикам!

Но купил ружье – и стал мазать! Дроби вылетает из ствола – не перечеть, а все мимо.

Объяснялось все просто. Впервые стреляя из ружья,

плохо прижал я приклад к плечу (отдачи у малопульки почти никакой!) и получил такой удар, что из носу потекла кровь. Память об ударе по носу заставляла при нажатии на спусковой крючок инстинктивно моргнуть и дернуть пальцем. И этого достаточно, чтобы промазать.

Охотились мы с малопулками долго и беззаботно.

И вдруг объявили, что все владельцы малопулек должны снять стволы и сдать их в милицию! Был назначен крайний срок, после которого обещались серьезные кары.

Долго не нес я свою, так хорошо пристрелянную, винтовку. Привык к ней, трудно было с нею распрощаться. Но делать нечего. Снял ствол и принес милиционеру.

В углу у него увидел сотни стволов, уложенных в высокий штабель.

Власть добиралась до нашей вольницы: назревал конфликт с Китаем.

Мышь во рту!

Я долго не решался писать об этом, но из песни, как говорится...

Поехал я на рябчиков со своим товарищем. Выехали, как обычно, после работы. Добрались до зимовья в тайге и решили в нем заночевать.

Выпили, закусили и улеглись спать на сено на нарах. Обратили, однако, внимание, что вокруг много таежных мышей.

Наверное, улегся я во сне на спину, запрокинул голову, поскольку подушки не было, и слышу, не просыпаясь, как по сену за головой кто-то все шуршит и шуршит. Понятно было, что мышка. Ну, пусть себе бегают! – сквозь сон ворочалось в моей голове.

И вдруг почувствовал я, что мышка ринулась по моему лбу, носу и, провалившись задними лапками мне в раскрытый рот, дергает этими лапками, чтобы выскочить.

Была у нас бутылка водки. Всю я ее использовал, для полоскания рта. И такой матерщины, которой я сопровождал это полоскание, то зимовье, безусловно, не слышало!

Потом уже вычитал, что в зимовьях сосредотачивается большое количество таежных мышей.



Наутро возле злосчастливого зимовья. Обнаружил лоток, которым золотоискатели промывают золото.

Объездная дорога

ФЗЦО – это комплекс сооружений, включавший кроме главного корпуса котельную, механический цех, высоковольтную линию электропередачи, водозабор, мосты, дамбу и объездную дорогу.

Длина объездной дороги – всего 2 километра. Но это были тяжелые километры, прежде всего потому, что шли они вдоль весьма крутого склона горы.

Когда мы с геодезистом, прокладывавшим эту трассу, впервые пошли по ней, то даже пройти эти два километра в поисках меток оси трассы оказалось очень нелегко.

Строить дорогу мы начали зимой. Пришлось много бурить и взрывать. Лес там был густой и высокий, к великой радости токурян. Взрывчаткой, выше мощной корневой системы, мы стволы перебивали, а бульдозеристы растаскивали их на дрова. Громадный пласт почвы и корневой системы сталкивали бульдозерами к реке под откос.

Невероятно высокие лиственницы росли возле нас. Промерял я поваленные деревья. Длина стволов превышала

иногда 40 метров.

Повалить деревья – начало дела. Далее нужно было много бурить, взрывать и сталкивать бульдозерами взорванную породу под откос. Косогор крут, поэтому и объемы работ очень большие.

С одной стороны дороги образовывался высокий, ниспадающий к реке откос, с другой – не менее высокий – нагорный.

Пробьем, бывало, участок дороги нужного поперечного профиля. В какой-то из дней приходим – нет дороги! Там, где была дорога – густая тайга с высоченными лиственными.

Объяснялось все просто. Слой почвы на коренной породе – не более метра толщиной – почти с нею не связан. Но, по существу, это густо схваченный сплетенными корнями прочный пласт некоего единого целого.

Корневая система каждого дерева, не имеющая возможности расти вниз, вырастает в слой почвы и других корней так широко, что вполне удерживает дерево вертикально.

На крутом склоне, подрезанном нами снизу, весьма большой участок тайги вдруг приходил в движение и сползал к нам на дорогу. И дорога исчезала.

Снова приходилось валить деревья и сталкивать мезиво почвы и корней в откос.

Одним таким оползнем экскаватор, стоявший на дороге, был сдвинут под откос и оказался в реке.

Два километра грунтовой дороги обошлись нам не менее, чем два километра шоссе.

Гробы

Люди умирали. И шли родственники к Николаю Минычу Глущенку, брату моего соседа, чтобы изготовить в столярке гроб.

Как не изготовить? Без гроба не похоронишь. Только у Миныча и можно гроб сделать.

И давал Глущенко задание столяру гроб тот изготовить. И при закрытии нарядов писал плотнику: «Изготовление гроба». Столько-то часов рабочего времени.

Много гробов так было сделано. Умирали люди.

И пришло время Николаю Минычу уходить на пенсию.

Но тут бухгалтерия ему сказала:

– Миныч, где гробы? Ты изготовил столько-то гробов? Представь. Они на тебе висят!

Стал Миныч доказывать, что гробы не шкафы, что они делаются для того, чтобы их в землю закапывать. Но бухгалтерия сказала, что аргументы эти она не признает, что, если изготовлено что-то из государственного материала и оплачено изготовление государственными деньгами, то оно должно быть в наличии.

Плюнул Николай Миныч, пошел в столярку и, по доброй памяти, из самого плохого горбыля сколотили ему плотники подобия гробов. Штук двадцать.

И лежали они штабелями за навесом, хорошо видимые сверху, с дороги.

И хохотал народ, едучи в рудник и глядя на эти гробы.

Так и уволился Глущенко Николай Миныч, честно рассчитавшись с государством.

Кстати, когда увольнялся я, то не хватало у меня, как сейчас помню, 117 тонн арматуры и проката. И около двухсот кубометров пиломатериалов.

Но все это благополучно было списано.

Быт и прочее

Я не очень хорошо знаю быт токурян: прийти к кому-то в гости означало попасть на хорошую пьянку. А пьянки я не любил и избегал их.

Могу сказать, что и сейчас у меня может по году стоять бутылка водки.

Поэтому жизнь токурян наблюдал почти исключительно внешне.

Хотя у всех были дворы, почти ничего на них не произрастало. Дома нашей Подгорной улицы стояли на мощном, сформировавшемся тысячами лет, слое мха. Прогревался этот слой за лето совсем неглубоко, а ниже была

вечная мерзлота.

Чтобы поставить дом, вырубали в мерзлом мху глубокие и тесные колодцы, доходящие до коренной породы, вставляли в них толстые лиственничные бревна, а на них уже опирали сруб.

Тротуары были дощатые. И – не дай бог ступить с них на землю. Тут же по щиколотку уйдешь в мокрый мох. То же и во дворах. Ходили только по уложенным доскам.

Хотел я улицу нашу сделать проезжей для автомобилей. Договаривался с горным цехом, что пустую породу будут зимой возить к нам.

Навозят, бывало, целую гряду породы. Но весной она уходила вниз – будто и не было ее.

Каждый год возили породу, и каждую весну все повторялось. Наконец в одну из весен порода буграми осталась на нашей улице.

Пригнал я бульдозер, чтобы разровнять улицу. Но как только бульдозер на нее заехал, он тут же по крышу – по крышу! – утонул.

И еще случай. Вызывает Вайзеров:

– Поселку нужен спортзал. Официально строить нам его не разрешат. Но материалы есть, и рабочие руки есть. Сможешь без проекта?

Показал место. Тут уже стоит бригада рабочих. Не все поверят, но отсчитал я ногами (шаг выверенный!) нужные размеры, и тут же, на досках, нарисовал общий вид здания из деревянного бруса и рассчитал, на тех же досках, фермы покрытия!

Через три месяца там уже играли волейболисты.

Решил я вдоль забора посадить картошку. Я видел, что ее сажали и что-то вырастало.

Взял лопату, быстро и легко уложил клубни в мягкий мох.

То же сделала и Анна Григорьевна, супруга Степана Власовича, отца моего соседа.

Проходит время. У нее уже ростки из-под земли выбрались, а у меня ничего нет. Проходит еще – у нее что-то уже растет, а у меня ничего.

– А ну, дай-ка, Анатолий Иванович, мне лопату! – говорит Анна Григорьевна. Копнула. Спрашивает:

– А клубни где?

– Глубже, – отвечаю. А она – ругать меня:

– Что же ты их на лед посадил?

А я вспомнил, что, когда сажал, лопата моя обо что-то скребла...

Сажали все почти на поверхности, едва прикрыв слоем мха.

Охота и рыбалка что-то прибавляли к нашему столу, но серьезным источником пищи они не были. Потому что, как у нас говорили, девять месяцев зима, остальное – лето. Зимой не поохотишься.

Спасали соленые грузди, заготавливаемые бочками, и мороженая брусника, что бочками же стояла у каждого в сенах.

Покупали в магазине мясо, крупы.

Если сегодня Ан-2 разворачивался над нашим поселком и направлялся к Охотскому морю, к рыболовецкому совхозу Чумикан, то завтра смело можно было идти в магазин покупать кету. Иногда попадалась кета с икрой – по той же цене. Икру солили, кету варили в супах. Признаться, надоела она очень.

В общем, готовили супы из мяса с небольшим количеством картошки, из той же кеты, из груздей. Из брусники готовили кисели.

Нельзя сказать, что калорий нам не хватало. Но недостаток овощей и фруктов ощущался остро.

Когда был уже в Харькове, заехала ко мне, будучи в отпуске, семья из Токура. Повез я их на водохранилище под Харьковом. Дорога шла мимо колхозных садов. И женщина буквально заголосила, заплакала, увидев, что земля под каждым деревом усеяна яблоками.

– У нас в Токуре яблочка для ребенка нет, а здесь они на земле гниют, – причитала она.

Была неплохая столовая. И многие ею активно пользовались. Даже, бывало, вертолеты, пролетающие над

Токуром, приземлялись перед столовой.

Пили в столовой мало. Предпочитали по домам.

В магазине продавались лишь питьевой спирт и шампанское. Сочетали одно с другим.

Как-то на рыбалке выпил залпом я полстакана спирта. Не могу вдохнуть. Во рту сухость страшная. Еле раздышался и зарекся пить его в будущем.

В общем, Золотопродснаб не баловал нас разносолами. Поэтому приноравливались с едой, как могли.

Но особым праздником было для всего Токура, когда в Золотопродснаб привозили пиво!

Все мужики, похватав ведра и коромысла, наперегонки мчались за пивом.

По два полных ведра на коромысле приносили домой. И пировали.

Пили, вообще, настолько много, что на следующий день после получки или аванса никто на работу не выходил.

Сидишь, бывало, у телефона. Работы нет. Звонит Вайзеров:

– Стоим?

– Стоим, – отвечаю.

– Понятно, – изрекает. И кладет трубку.

На следующий день появляется половина рабочих. Поднимаются по длинной деревянной лестнице. Стою наверху и приказываю каждому:

– Дыхни!

Если не протрезвел – отправляю домой. Работы на высоте, свалиться можно.

Считалось осудительным, если кто-то не появлялся на работу и на третий день после получения денег.

Один мой прораб целую неделю после восьмого марта не появлялся на работе. Звонит замдиректора, требует гуляку к телефону.

– Что ты, мать-перемать, на работу не выходишь?

– Да понимаете, после того как мы с Вами, имярек, на праздники напились, я с той поры в себя прийти никак не могу! – при всех и возможно громче отвечал хитрец.

Пьянки эти, два раза в месяц, срывали всю работу.

И решил я выпустить нечто вроде стенгазеты, на которой в самом неприглядном виде изобразил наиболее пьющих. И дернул меня черт изобразить одного плотника с щербатым топором.

И ворвался этот плотник ко мне со своим топором, и, чуть не обливаясь слезами, стал приговаривать, суя мне прямо в лицо остро отточенное лезвие:

– Анатолий Иванович! Ты видел мой топор? Посмотри! Он у меня как бритва, всегда отточенный! Сними рисунок! Не позорь!

Человек настолько искренне убивался, что пришлось пойти ему навстречу.

Вот – познавай таежную жизнь!

Тупой топор, оказывается, самый большой позор для плотника. А пьянка – традиционно – нет.

Большим несчастьем как-то было, когда в Токуре вдруг исчез спирт.

Кто-то пустил слух, что на одном из наших участков спирт еще не закончился.

Что тут было! Вскочили наиболее пьющие и по грунтовой горной дороге, обгоняя друг друга, бросились за алко-голем.

Кончилось дело плохо. На одном из поворотов упал один, в него врезался другой, затем третий и так далее. Много народу тогда получили травмы.

Хотя Токур намного больше Экимчана, в котором ничего, кроме аэродрома не было, Экимчан считался районным центром. И был он, напрямую, через сопку, совсем близко от нас.

Приехал к нам из Экимчана в гости к кому-то районный судья. И что-то у него с транспортом назад не заладилось. И по пьянке не придумал он ничего умнее, как через сопку вернуться домой. Хотя по прямой это километров шесть-семь, но заблудиться в горах легко. И пропал районный народный судья.

Почти тут же радио «Свобода» объявило: «В Селемджинском районе Амурской области пропал районный судья».

– Так кто-то у нас стучит за границу! – со скрытым восторгом переговаривались токуряне.

Нашли судью уже весной, когда сошел снег.

Вместо послесловия

Я не стану подводить итог моей жизни на Дальнем Востоке. Зачем к моему вранью эмоциональной природы приписывать еще вранье, может быть, в особенности эмоциональное? Пусть тот, кто добрался до этих строк, сам сделает обобщение написанному.

Ведь всякое обобщение сугубо индивидуально.

Удивительным образом я попал на страницу об амурских золотодобытчиках¹:

https://www.google.co.il/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjakfXngq_aAhUIbVAKHb_RD44Q_AUICigB&biw=835&bih=440#imgrc=kDBP_RNj-kA37M:

¹ По ссылке, приведенной автором, можно увидеть много дополнительных фотографий, дающих представление о Токуре.



Несколько слов о себе. Родилась в Ленинграде в семье директора театра и студентки Театрального института. Пережила блокаду и гибель матери, была в детском доме вплоть до снятия блокады в 1944 году. Закончила Ленинградский университет (французское отделение, специальность – романская филология). Будучи студенткой, опубликовала перевод «Сказки о Розе» Пьера Гамаррэ. Всю жизнь преподаю французский. 32 года живу в Канаде, работала в разных школах. В данный момент веду французскую разговорную группу в Бернар Бетель Центре, в ее состав входят в основном носители языка. Случайно наткнулась на просторах интернета на фильм с участием Ж.-К. Паскаля, купила его книгу, влюбилась в текст и стала его переводить.

Алла Герценштейн.

Жан-Клод Паскаль

Красивая маска

Перевод Аллы Герценштейн. Первая публикация на русском языке.

Вступление

Это первые главы из книги о приключениях отпрыска крупной французской буржуазии. Жан-Клод Паскаль – герой Второй бронетанковой дивизии генерала Леклерка¹. Тогда ему было 17 лет. Движимый серией случайностей и каскадом безрассудных поступков, модельер у Диора, затем кинозвезда 1950–60 годов и обладатель первой премии Евровидения. Романтический герой «пятидесятых». Гусар, заблудившийся в джунглях театрального мира, откуда он бежит, борясь с системой. Сфера высокой моды, парижские салоны, мир театра и кино отражены в захватывающем повествовании амбициозного Растиньяка² от имени Фабрицио дель Донго³, но с трезвым взглядом на вещи, иронией и сомнением в собственных успехах. Мягкий с другими, почти жестокий по отношению к себе, Жан-Клод Паскаль сумел сделать из своего автобиографического повествования пример социального и сентиментального воспитания молодого человека, наделенного при рождении чертовской красотой, но слишком способного и слишком честного, чтобы принять свою внешность как амплуа. Никогда еще изнанка декораций не была так хорошо описана самим участником привычного «гарема» самых крупных звезд. Здесь он проявляет

¹ Генерал Леклерк – французский генерал времен Второй Мировой войны. В 1944 году командовал французскими войсками во время высадки союзников в Нормандии.

² Растиньяк – персонаж романов О. де Бальзака. Социальный альпинист, готовый использовать любые средства для достижения своих целей.

³ Фабрицио дель Донго – персонаж «Пармской обители» Стендаля. Его судьба – это череда приключений, в которых он предстает как самая яркая личность среди героев Стендаля, чья искренность и обаяние волнуют воображение.

неоспоримый талант портретиста. Этот достоверный роман про «фабрику звезд» – настоящая удача в этом жанре.

Посвящается мадам Эдвиж Фейер¹ – в знак признательности.

«Молодость – это время, когда условности мало понятны: или они слепо отвергаются, или им слепо подчиняются.»

Поль Валери²

Часть первая: Время надежд

«Есть некоторые моменты нашего существования, когда мы самым необъяснимым и почти ужасающим образом являемся тем, чем становимся потом.»

Маргарита Юрсенар³

Глава первая

24 октября 1945. Мне 18 лет, и меня только что демобилизовали. Я провел год во 2-ом бронетанковом дивизионе. Это дало возможность открыть для себя Лотарингию, Эльзас, Вюртемберг, Баварию, Мюнхен и другие территории, обитаемые нашими «германскими кузенами». Первая часть этого марша была труднее, чем вторая. Снаряды, мины, пулеметы – и много пыли и грязи. Было очень холодно зимой 1944 и немного страшно иногда. И так, мне 18, и к моей американской форме прицеплены красно-зеленая орденская ленточка с бронзовой звездой посередине и крест, который болтается при ходьбе. Это военный крест. Мои начальники наградили меня на второй день после освобождения Страсбурга. Спешу вам сказать, что я совсем не заслуживал этой награды

¹ Эдвиж Фейер, 1907–1998 – одна из наиболее популярных звезд своего поколения. Дебютировала в 1930 году на сцене «Комеди Франсез». Более сорока лет отдала кинематографу.

² Поль Валери, 1911–1945 – французский поэт, эссеист и философ.

³ Маргарита Юрсенар, 1903–1987 – французская писательница. Первая женщина, избранная во Французскую Академию.

по простой причине. Если я и вошел (может быть) первым в Страсбург, то это потому, что я заблудился. Но это другая история.

Я был на тот момент связным в мотоциклетном батальоне («Харли-Дэвидсон», вес – 400 кг. Большое спасибо! Ваше здоровье!) при командире моего полка – Первого полка кавалеристов-марокканцев. Я прыгал от радости, когда получил это назначение, наивно полагая, что моя роль будет состоять в том (отбросим риск), чтобы скакать на лошади, входить в города под звуки труб и барабанов, гарцуя на боевом коне, приветствуя рукой, с улыбкой на лице, прелестных созданий, которые осыпают вас цветами, бросая их из окон.

В этом возрасте ты уже начитался о подвигах д'Артаньяна, Фанфана Тюльпана и Робина Гуда. В действительности, наши «кони» потребляли американский бензин, а не овес. И кавалерийский полк был на самом деле бронетанковой дивизией.

В мою миссию входило ежедневно или почти ежедневно доставлять приказы полковника Реми различным эскадронам, батальонам и соединениям. Это был взвод, состоящий из десяти–двенадцати парней, где старшему было 25, а младшим был ваш покорный слуга.

Не помню точно, было 19-е или 20-е ноября, но что я точно помню – был сильный дождь. Это был не просто дождь с неба, но также дождь из падающих снарядов. Приходилось часто втягивать голову в плечи чисто автоматически. Как будто это могло спасти от неизбежного... Известно, что когда снаряд пролетает мимо, то слышишь его звук. Хорошо, если ты слышишь шуршание смятой бумаги. Потому что, если ты этого не слышишь, значит, это «милое устройство» сейчас обрушится на тебя. Какое облегчение, когда оно взрывается немного дальше, после краткого мгновения тишины. Остается ждать следующего.

19-го или 20-го ноября я должен был отвезти бумаги, которые находились в сумке, с командного пункта полковника в Гуттенхейме командующему одного из эскадронов. Прибыв по назначению, в деревню, расположенную на западе Эрнштейна, я обнаружил, к моему величайшему изумлению, населенный пункт опустевшим. Ни малейших

следов военного присутствия и, естественно, никого, кто бы мог мне что-то объяснить, кроме старика, который показал мне неуверенным жестом: «Они ушли вон туда...» Это «туда» – была вся долина Эльзаса.

Вы мне скажете, что эскадрон (сотня военных плюс боевая техника) не может пропасть вот так, как спичка, – и все же... Итак, о том, чтобы вернуться в точку отправления и промямливать «Я их не нашел», не могло быть и речи. Оставалось одно – искать. Что я и сделал с большим упорством и долей страха. Чувствуешь себя таким маленьким в подобных обстоятельствах, ужасно одиноким и уязвимым. Казалось, что снаряды рвутся совсем рядом и дождь усиливается. Понятно, что уже некоторое время тому назад указатели на дорогах исчезли. Те, что остались стоять, напоминали огородные пугала. Они были наполовину искорежены и поэтому нечитабельны. Карты Главного штаба? Нам не успели их дать... Мы слишком быстро продвигались вперед.

Наш бог Марс, генерал Леклерк, еще не маршал. В 1941 году в Африке, в оазисе Куфра, он вместе со своими солдатами дал клятву освободить Страсбург. Чтобы это осуществить сейчас, надо было «поторопиться» (если можно так сказать). И мы подчинились с энтузиазмом, свойственным «парням Леклерка». Но энтузиазм был не тем чувством, которое владело мной в эту минуту. Верхом на американском мотоцикле я бороздил рощи, поля и деревни, надеясь встретить где-то этот замечательный эскадрон.

Напрасно. Военные других подразделений не могли мне ничего объяснить. «Должно быть, они перемещаются», – таков был лаконичный ответ чаще всего. Эта прописная истина мне совсем не помогала. Таким образом – от дома к дому, от дороги к дороге, от перекрестка к перекрестку, – я вдруг заметил, что дома стояли все ближе друг к другу, а дороги превратились в улицы. Я продолжал свой путь. Населенные пункты становились все больше и больше, а строевая все выше.

Наконец я очутился на площади. Никого... Дома с закрытыми ставнями походили на какой-то гигантский конструктор. От этой площади, на которой я находился, расходилась серия проспектов в разных направлениях. Я плохо различал конец этих длинных улиц, кроме одной, где я

заметил дым и какое-то движение... там... в глубине.

Дождь почти прекратился, и я слышал пушечные выстрелы вдалеке. И тут я заметил указатель, прикрепленный к дереву, где черным по белому было написано: «KIEL BRUCKE». Не обязательно читать Гете в подлиннике, чтобы понять, что речь идет о мосте КИЛЬ. Он через Рейн соединяет Эльзас с Германией. А в конце этой улицы, обозначенной стрелкой, я смутно видел какое-то движение, окутанное дымом. Вдруг я понял, что это Страсбург. Все об этом говорит. Изумление, удивление, ужас и смятение.

Затем... Что я делаю?

Будучи очень любопытным по натуре, я включаю мою машину на первую скорость и еду по этой улице в сторону дыма и суеты. Долго ехать не пришлось (не очень-то и хотелось), чтобы понять, что это немцы, которые грузят свою боевую технику и сразу уезжают. Решение было мгновенным. Направление ясным. Мое возвращение на командный пост в Гуттенхейм было сделано на рекордной скорости. Первому же лейтенанту, которого я встретил, я сказал, задыхаясь:

– Вы знаете, что немцы проходят по мосту «КИЛЬ»?

Они бегут из Страсбурга.

– А вы откуда знаете?

– Я только что оттуда.

– Откуда?

– Из Страсбурга.

– Вы издеваетесь?

– Вовсе нет, мой лейтенант.

– Идите к капитану.

Я должен был рассказывать свою историю много раз, продвигаясь все выше и выше по иерархической лестнице. Тем не менее, мой убедительный рассказ заставил их задуматься. Дальнейшие события ускользают из-под моего контроля. Помню только, что несколько часов спустя, завтра, бронетанковый дивизион действительно вошел в Страсбург. Я тоже – после увольнительной, и только в следующее воскресенье.

Вы видите, здесь нечем гордиться и говорить, что я отважно сражался и был за это награжден военным крестом. Это означало бы невероятно хвастаться, приписывая это

награждение моей отваге. Я думаю, что мои начальники в момент награждения медалями захотели отметить мою невероятную молодость скорее, чем достижения заслуженного бойца.

Вот. Но вернемся в Париж. Конец октября 1945. Прекрасная погода. Я гордо разгуливаю по тротуарам и убежден, что те, кто идет мне навстречу просто в восторге от этого Военного Креста и, соответственно, от того, кто его носит. (Я, должно быть, принимал себя за Жанну д'Арк, размахивающую флагом после того, как она выгнала немцев, а не англичан из Франции).

Но парад не может длиться вечно. Конечно, было здорово вновь увидеть друзей, оставшихся в Париже. Они долго и весело праздновали – сначала освобождение города, а потом территории, – вместе с девчонками и союзниками. Было легко выпячивать грудь колесом. Им было завидно.

Обмен бесконечными шуточками. Это была «хорошая война».

«Возвращение воина» было отпраздновано моими друзьями в одном ключе, моей семьей, как и должно было быть, в другом. Наивный, я думал, что меня оставят в покое до Нового года... Нет, мои «каникулы» после года в армии длились с 6-го по 25 октября. А потом наступил момент большого вопроса, который я готовился услышать уже давно.

– Ну, а теперь что ты собираешься делать?

Мой ответ был готов:

– Я не знаю.

Это никого не устраивало. Я не буду здесь рассказывать о моей хаотической учебе, которая предшествовала «моей войне».

Говоря о детстве... Помню смутно. То, в чем могу признаться, так это то, что я не родился в бедном и грустном предместье у слепой матушки и алкоголика отца. Нет. Я открыл глаза, так мне рассказывали, в прекрасном частном доме недалеко от Марсова поля, почти у подножия Эйфелевой башни.

Мои родители были красивы и очень молоды. Мой отец умер в 24 года. Он успел побыть отцом всего шесть месяцев. Если мой взгляд и встречался с его взглядом, то я

этого не запомнил. Памяти еще нет так рано. Моя мать считалась одной из самых очаровательных и умнейших парижанок. Итак:

– Что ты собираешься делать?

– Понятия не имею.

Разочарование для одних. Облегчение для других. Обидно, что юноша 18 лет не может четко определить свое будущее. Но, с другой стороны, хорошо, что они не услышали, что он хотел быть адмиралом флота, начальником станции, булочником или архиепископом Парижа.

Моя семья не узнавала меня. Мальчик ушел с дивизией генерала Леклерка в сентябре 1944. В декабре 1945 это был длинный парень, который, хоть и не был еще мужчиной, пугал и беспокоил сознание, т. к. невозможно было понять, что у него в голове. И потом... он был «на войне».

Случай беспрецедентный в семье.

Что больше всего беспокоило одного из моих старших родственников, – так это неосторожно брошенная фраза. Я ее прекрасно помню. Впрочем – как и он. Теперь он об этом жалеет. А я ничего не ответил. О, фраза, брошенная в порыве гнева, в особый момент, теперь ничего не значила, но она резала ухо именно тогда, когда была сказана. 1 сентября 1944 я пришел попрощаться.

– Я пришел вас обнять, т. к. завтра я уйду добровольцем.

– Что?

– Да, я уйду на войну.

– Ты не имеешь права... Ты несовершеннолетний.

– Совершеннолетний или нет, я уйду.

– Ни за что.

– Я так решил.

– Я тебе не позволю.

– Ты не посмеешь!

– Ты с ума сошел!

– Нет.

– Но это безумие. Только крестьяне или беспризорные идут добровольно!

И Я УШЕЛ... Моя мама, наполовину гордясь мной, наполовину пребывая в панике, – приняла ситуацию и старалась сдержать слезы (английское воспитание обязывает).

Она проводила меня до пункта сбора, где мы должны были расстаться до... неизвестно какого срока. Прошел год. И вот я вернулся. Я был здесь. Было решено, не мной, конечно, что я войду в семейное дело. Увы!

Текстильные заводы в департаменте Сом, отделение в Париже, большое здание на улице Бошомон. Я туда войду, конечно. Обязан. Остается определить, что я там буду делать. Я давно ждал этой угрозы, но во время моих различных школьных занятий я отказывался думать, что в один прекрасный день этот «проект» рискует осуществиться.

И вот. В конце октября 1945 я должен был сменить мою прекрасную форму и одеться «комильфо», т. е. серый костюм, рубашка, галстук, черные ботинки и т. д. Доспехи молодого буржуа.

Младший брат отца руководил тогда делом. Мой дедушка еще царил, но издалека. Я на улице Бошомон. Неизвестно ни как меня использовать, ни чему учить. У меня никакого образования. Из школы я попал на войну, без перехода. И вот, о чудо, мне дают перебирать бумаги. И я перебираю! Восхитительная работа! Монотонная до ужаса! После года, проведенного на свежем воздухе, я заперт в крошечной и плохо освещенной комнате и вынужден 8 часов в день делать ненужную работу.

Понимая это, работать не хочется. Я продержался (сознательно) 8 месяцев.

Почти что время, чтобы родить ребенка. Я родил бунт. Я заявил, что ухожу.

Революция в семье!

– Что ты собираешься делать?

– Я не знаю по-прежнему... но только не это.

И я объясняю на повышенных тонах, что такое потерянное время, аллергия от бессмысленной работы, которую мне навязали, и отвращение, теперь уже полное, к вопросам, вблизи или издалека касающимся текстиля, в особенности, семейного. Меня принимают за сумасшедшего. Я хлопаю дверью и ухожу. Семья в ужасе, я тоже немного взволнован – два или три дня после моего выступления. Теперь моя очередь задать себе вопрос: «Что ты собираешься делать, ‘старичок’?» А «старичок», еще совсем молодой, не находит ответа в зеркале. Там отражается бледный, худой, долговязый

– 1.85 м парень.

Исчез загар и блеск в глазах. Тусклое лицо, потухший взгляд, восковая маска. Жуткая рожа... Ноябрьская голова, как раз на праздник всех святых. Лето 1946 на пороге! Друзья позвали меня провести каникулы на юге, в Каннах. Я поспешил им позвонить и сказать: «Я еду.» И я уехал. Уехал «из», уехал «к». Я поменял «тени» на свет и солнце.

Глава вторая

Ритм поезда, который увозил меня на Лазурный берег, приятно что-то напевал. Было впечатление, что я вырвался из тюрьмы. Последний раз я был в Каннах в 1938 на пасхальных каникулах. Это были благоразумные и немного монотонные каникулы 11-летнего мальчика. Он приехал сюда с дедушкой и бабушкой и по-королевски разместился в отеле «Мирамар».

Июль 1946, восемь лет спустя. Мы очень изменились: город и я. Нам было трудно узнать друг друга. Нужно признать, что эти каникулы были гораздо забавнее и менее благоразумны. Очевидно, что развлекаются и смеются в 11 лет и в 19 лет по-разному. И вам встречаются совсем другие люди. В 11 лет видят и слушают друзей твоих дедушки и бабушки и играют с детьми своего возраста. Но это зависит от твоего характера. На самом деле, временами это скучно.

Восемь лет спустя я заметил, что я смеюсь так безудержно, так непосредственно и так часто, как будто хорошее настроение вошло в мою повседневную жизнь, как порыв ветра внезапно распахивает окно, которое все считали закрытым. Я думал, что попаду в круг людей скучных. Но нет. Совсем наоборот. Адвокаты, врачи, кутюрье, художники, архитекторы, композиторы, музыканты, писатели и т. д., и т. п. Целая вереница личностей, известных и признанных, составляла день за днем программу моих развлечений. Самому старшему было едва за 40.

Самой собой, я не встречал в их разговоры. Я был счастлив в роли немого, но внимательного свидетеля в этих играх ума, которые наблюдал. Это были, я уверен, мои первые уроки настоящего парижского стиля. Я пытался хоть что-нибудь запомнить. Вот с тех пор и смеюсь, но уже не так, как в то лето. Среди всех этих отдыхающих нашелся, я

в этом уверен, тот, который определил мое будущее. Это был приятный внешне человек: круглый, довольно осанистый, с румяным лицом, посредине которого торчал острый нос с чувственными ноздрями, а под ним маленький рот маркиза XVIII века кисти Буше. Изо рта не спеша, – и голосом, я бы сказал, служителя культа, – выходили забавные, тонкие фразы. Итак, этот месье (его поведение, жест, обороты речи, все, вплоть до его смеха, было проникнуто учтивостью и хорошим воспитанием, может быть, иезуитским). Услышав мое имя, когда меня представляли, он сказал:

– Я знал одного Вильмино, когда учился в школе в Эльзасе. Его звали Робер.

– Это мой отец, месье.

– О! Бог мой... Вы сын...

– Да.

– Господи, как время летит...

Я представлял себе, о чем он думал: «Мой одноклассник умер, а это его 20-летний сын передо мной...»

– И... Чем вы заняты?

– Э...

Кто-то пришел мне на помощь.

– Жан-Клод был в дивизии Леклерка. Его только что демобилизовали.

– А! Так вы были на войне?

– Да... немного.

– Еще и скромный. И красивый, как его отец.

– Я не виноват.

И, конечно, я покраснел, как девчонка, которую застали врасплох. Я ненавидел себя за этот недостаток, от которого я много лет не мог избавиться. Мой собеседник, продолжая меня разглядывать, добавил:

– Нужно, может быть, сбрить эти усики. Я думаю, они портят лицо.

– Вы, правда, так думаете?

– Да. Правда.

– Хорошо.

Я думал, что это благо – отпустить усы или скорее темный пушок во время пребывания в армии, чтобы казаться старше, мужественнее. Хочется спрятать свое детство подальше, когда становишься военным. Усы-пушок были

сбриты в тот же вечер.

Этот человек произвел на меня большое впечатление. Его взгляд напоминал тихую воду. Но иногда за этой прозрачной ширмой угадывалась стальная воля, опровергаемая голосом, полным вкрадчивой интонации. Это владение собой не могло сдерживать быстрые молнии взгляда, вдруг ироничного, а до этого непроницаемого и почти ангельского. Предполагаю сегодня (я так никогда и не узнал всей правды), что один из наших друзей, зная мое краткое прошлое и мое неопределенное будущее, подумал, что неплохо бы рассказать этому месью о моей неясной ситуации (чтобы не сказать – несуществующей). Итак, через несколько дней по исчезновении усов-пушка я оказался после обеда, весьма удачного (столько там было остроумных схваток!), в уголке салона почти один на один с этим персонажем.

– Вы умеете рисовать?

– Нет, не думаю.

– Но вы можете научиться?

– Э... Я не знаю. Может быть.

– Тогда нужно научиться рисовать.

– Да? Правда? Вы думаете, что...

– Нет, я не знаю, есть ли у вас способности. Но можно всегда попробовать.

– Если вы думаете, что...

– Вы ведь внук Шарля Фредерика Ворса?

– Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Ворс.

– Должно быть, вас привлекают цвет и форма. Ваш предок был первым великим кутюрье.

– Да, правда. Я ценю элегантность и люблю смотреть на хорошо одетых женщин.

– И вам не будет противно рисовать хорошеньких и хорошо одетых женщин?

– О нет, напротив!

– Так вот. Я думаю, все устроится, и мы сможем начать работать вместе в феврале-марте. Я попрошу нашего друга Рене Грюо¹ дать вам несколько уроков. Сейчас лето, у

¹ Рене Грюо (1909–2004) – знаменитый художник-иллюстратор, создавший образы рекламных компаний известных модных домов.

вам достаточно времени, чтобы серьезно поработать до весны. Я на вас рассчитываю.

Вот так все и началось. Месье в те времена был еще модельером у Люсьена Лелонга, но, будучи творцом по натуре, он готовился осуществить свои собственные идеи в области женской элегантности. Встретив Марселя Буссака, он убедил его сделать революцию в «высокой моде». Этого месье звали Кристиан Диор.

Осенью и зимой следующего года я старательно мариновал бумагу, рисуя женские силуэты, стараясь поймать манеру Рене Грюо – этого непревзойденного мастера. У него было редкое терпение. У меня гораздо меньше, т.к. мне не удавалось выразить в рисунке то, что было ясно в голове. Что касается манеры Грюо, мне так никогда и не удалось ее поймать. Время шло.

Я достаточно поупражнялся с карандашами и резинками, и Грюо мне посоветовал немного отдохнуть на свежем воздухе, чтобы расслабиться. Свежий воздух был в горах. Конец декабря 1946. Маленькое шале в горах увидело десант из вереницы мальчиков и девочек. Это были друзья детства. Все были решительно готовы кататься на лыжах, смеяться и наслаждаться жизнью. «Веселого Рождества!» и «С Новым годом!»

Моя мама нас сопровождала. Она была среди нас не как «мама», а как «подруга». Она решила жить в том же темпе, что и мы, включая хохот и спорт. Нужно сказать, кстати, что эта молодая очаровательная женщина (которую я так никогда и не научился называть «мама») выглядела гораздо моложе своих лет и легко сходила за мою старшую сестру. В этом статусе она нас и сопровождала. «Я еду со своей сестрой...» проходило легко. Если бы я сказал: «Мы едем с моей мамой», — это бы все испортило с самого начала.

Среди моих друзей детства были те, кто знал ее. Но они меня не продали и играли в эту игру до конца или почти до конца, что приводило иногда к уморительным недоразумениям. Когда правда была обнародована накануне отъезда, некоторые не поверили. Надо сказать, между мной и моей мамой было 18 лет разницы, что многое объясняло.

Каникулы прошли замечательно, и вся веселая

ватага вернулась в Париж с загаром на лицах и радостью в глазах. Моя мама была в курсе «проекта Кристиан Диор» и в восторге от этой возможности, которая представилась чудесным образом. Она была в глубине души рада показать родственникам отца, что наследственность семьи Ворс побеждает коммерческий успех трикотажников. Она предпочитала, конечно, видеть меня среди «haute couture» на Елисейских полях, а не среди специалистов джерси.

Январь и февраль были посвящены возобновлению ожесточенной работы под дружеским и конструктивным наблюдением Рене Грюо. Мне повезло тогда участвовать в необыкновенных вечеринках. Кристиан Диор жил в то время на улице Руаяль в квартире на верхнем этаже, где он охотно принимал своих друзей. У меня была привилегия бывать иногда на этих собраниях в качестве слушателя. Я сдерживался и молчал, но ничего не пропускал мимо.

Поэты, писатели, композиторы, художники; минувшее лето повторялось теперь уже под зимним небом Парижа. Но общество было более узкое и лучшего качества. Сколько уроков я получил тогда, слушая этих людей! Артистическая элита Парижа тех лет реально проходила передо мной. Анри Соге¹, полный остроумия и язвительности, обменивался с Кристианом Диором репликами, слегка безумными, и эти господа экстраполировали все с легкостью и гениальностью. Отгалкиваясь от незначительного повода, ораторская схватка на фоне легкой или едкой иронии приводила жонглеров слова в область, о которой они даже не догадывались несколько минут назад. Часто свежими объектами этих блестящих характеристик становились отсутствующие. Весь Париж подвергался жестокой критике. От козла отпущения почти ничего не оставалось через несколько минут. Его странности, недостатки или излишества были разложены, препарированы, проанализированы, спародированы, т. е. превращены в карикатуру.

Среди несчастных, пригвожденных к позорному столбу, был один кутюрье, ставший очень модным в это время. Его претенциозность раздражала столицу. Я не

¹ Анри Соге (1901–1989) – французский композитор и дирижер, член французской Академии.

назову его имя. Встречаясь с ним лично впоследствии, я понял, почему он не пришелся ко двору этим остроумцам... Все просто. Он был глуп. А для человека тонкого и образованного глупость непростительна, особенно если она в паре с претенциозностью.

В марте 1947 я вошел в статусе рисовальщика-моделиста в частный дом на улице Монтень, только что отделанный Гран-Пьером. Мебель в стиле Людовика XVI, панели, выкрашенные в белый цвет, прекрасно сочетались с цветом стен. Фирменный серый цвет Диора был только что изобретен.

Есть странные совпадения. Я попал к Диору в одно время с Пьером Карденом. Он был привлечен в ателье как «закройщик» (создание жакетов, пальто и болеро), в то время как я был предназначен для мягкого кроя (платья для коктейля, вечерние платья и свадебные).

Диор рисовал все модели на бристолевских квадратах. Его наброски были очень «читаемы». Но нужно было еще суметь их интерпретировать и показать мэтру, что он имел в виду реально. Ткань раскроена и собрана на манекене – задача затруднительная для всех, – и всеобщая паника во время показа работы и ожидания одобрения творца...

Была одна дама, которая меня пугала (и не только меня). Она участвовала во всех этапах работы. Красивая, тоненькая, уже не слишком молодая. Она обладала живым умом, инстинктом и яркой индивидуальностью. К тому же была элегантна от рождения. Мицца Брикар царила под номером два после Бога-отца Диора.

Зная, что ее боятся, что она смущает, она забавлялась, играя в пугало, т. к. была слишком умна, чтобы быть просто злой. Короче говоря, в ее присутствии я робел и терял свои способности... а их было мало. Сколько раз она отправляла меня в мой закуток за стол, как неспособного, чтобы переделать рисунок! Очень часто.

Сейчас я понимаю, что она была права. Я рисовал плохо и, может быть, из глубокого благородства (хорошо спрятанного) она пыталась таким образом избежать негативного отзыва Кристиана Диора «напрямую», если можно так сказать.

Насколько атмосфера улицы Монтень мне нравилась

со всех сторон, настолько между рисунками и мной начались трудные отношения. У меня не получалось. Как я ни старался улучшить, переделать рисунки, результаты были катастрофическими. И самое печальное, что я сам это понимал. И не только я один...

Заботливый, замечательный Рене Грюо успокаивал меня на свой манер. Он даже предложил одному модному журналу поместить двойную страницу, выполненную молодым дебютантом, каким я был. Когда я смотрю сегодня, что тогда было напечатано, я покрываюсь холодным потом, и мне стыдно! Вообразите полдюжины одетых в черно-белое силуэтов, разгуливающих на этих двух страницах... Драма в том, что они совсем не «гуляют». Это как бы фигурки из гипса или из дерева. Они бесцветные, безжизненные, недвижные, без грации, без интереса, без ничего... красивые... нет... бесполезные. И, естественно, нарисованные (если хотите) с таким отсутствием индивидуальности, что весь этот ансамбль наводит на мысль о поддельном Грюо или о Грюо, который сломал себе запястье, прежде чем начал это рисовать. Ужас.

Но дом Диора процветал и без моей эффективной помощи. Мы лихорадочно готовили выход коллекции. Мы были «в поту» и отдавали себе раньше времени отчет в том, что на презентации этой первой коллекции должна «разорваться бомба».

Мои рисунки были все менее и менее презентабельны. Меня попросили посмотреть группу молодых женщин, мечтающих стать манекенщицами. Одна из них привлекла мое внимание: совсем молоденькая брюнетка, грациозная и очаровательная. Ее выбрали и оставили. Ее звали Сильви. Вскоре она стала женой Даниэля Желена.

Коллекция Кристиана Диора появилась на свет. New look был запущен. Высокая мода долго не могла оправиться от шока. Все изменилось: длина юбок, их ширина, возврат нижних юбок, баски¹ на бедрах, маленькие шапочки на одно ухо (пришедшие с портретов Клуэ), цветы из муслина, которые изображали стилизованные розы, высота каблучков и

¹ Баски на бедрах - кокетка на бедрах - объем на бедрах. В 1947 году К. Диор представил костюм с баской.

т. д., и т. п. Успех был просто оглушительным. Эмоции зашкаливали после триумфа в комнате для манекенщиц. Мицца Брикар, мадам Раймонда Зенакер (ассистентка, секретарь, непревзойденная сообщница Диора), талантливая мадам Маргарита – обладательница огненной шевелюры, чудная Сюзанна Луллинг – высокая, красивая, мастер на все руки, и я. Все мы плакали, утопая в слезах, и были совершенно счастливы.

Мне кажется, не плакал только Пьер Карден. Сухой, аскетичный, бледный и молчаливый, немного напряженный, он был тайной. За исключением нескольких морщинок, он мало изменился с тех пор. Наши разные параллельные достижения нас отдалили. Теперь, когда мы встречаемся иногда в Париже, он обращается ко мне на «вы». Я тоже. Должно быть, он забыл, что мы были когда-то на «ты».

Вот уже некоторое время в моем закутке, как раз напротив, поселился молодой человек, только что прибывший из-за океана. Он тоже рисовал. Но с той разницей, что он рисовал по-настоящему. Впоследствии он стал одним из самых известных кутюрье Соединенных Штатов: Джеймс Галлано. У Кристиана Диора работало много талантов, и я ему был вряд ли нужен. Однажды утром он сказал мне очень любезно:

– Вам здесь плохо, Жан-Клод, Ваши рисунки вас не удовлетворяют. Нужно, чтобы вы попробовали сами драпировать платья, кроить, собирать их на манекене... Я работал вначале у Робера Пиге. Его основной моделист уходит от него. Я вам предлагаю занять его место. С Пиге я уже договорился, он вас ждет. Вам остается только сказать «да».

Мог ли я сказать что-то другое? Я все-таки прибавил «мерси». А затем с моими картонами подмышкой с улицы Монтень я отправился на Елисейские Поля, где находился красивый частный дом, там Робер Пиге создавал свои коллекции. Он принял меня в своем роскошном офисе чрезвычайно учтиво. Он задавал мне вопросы, давал советы и рекомендации. Потом он решил меня представить своим сотрудникам и тем, с кем я буду работать. Таким образом, я встретился в тот же день, на том же месте, с уходящим моделистом, который уступал мне место, и с другим, который оставался и смотрел на меня косо. Уходящий был Юбер де

Живанши. Остающийся – Марк Боан.

С первым симпатия возникла сразу и взаимно. Со вторым антипатия была мгновенной и тоже взаимной. После посещения дома Пиге, Юбер де Живанши пригласил меня в ближайшее бистро, чтобы просветить немного по поводу моей новой работы. Я услышал много интересного о хозяине тех мест. Я расстался с Юбером намного лучше информированным и слегка обеспокоенным. Про себя я задавал вопросы о своих собственных способностях. Смогу ли я работать в этом новом доме?

Начиная с этого утра и потом довольно долго, мы часто виделись, Юбер и я. Мы не только готовили вместе наши коллекции, находясь лицом к лицу (но не копируя друг друга). Ходили часто в музей Гранд-Опера. Мы даже иногда проводили вместе уикенды у моих дедушки и бабушки с отцовской стороны на острове Круасси-на-Сене. Он был старше меня, его талант начинал крепнуть, в то время как мой оставался сомнительным... и на бумаге. Я его охотно подкалывал, пока он рисовал, так как он долго отделявал лица своих силуэтов: «Ты рисуешь портреты или платья?» Я его ужасно злил, утверждая, что все его нарисованные голы похожи на овечек.

Робер Пиге был родом из Швейцарии. Элегантный, безупречно одетый, прекрасно воспитанный, улыбающийся всеми своими зубами, он думал таким образом скрыть властную составляющую своего характера. Он был подозрителен и ревнив, но умудрялся это тщательно скрывать. У него была одна особенность: очень часто он ходил по комнате вдоль стен. Было впечатление, что он перемещается постоянно в профиль. Он знал, что профиль у него «аристократический». Ему это говорили и часто повторяли. И он поверил. Нельзя сказать, что это было не так. Тонкий до худобы, и ему достались руки с длинными пальцами. Чтобы их замечали, он охотно позировал в позе борзой.

Длинное лицо напоминало Генриха III де Валуа, большой нос Карла X Бурбона. Не было ничего от Гельвеции¹ в этом бледном лице цвета слоновой кости. Темные,

¹ Гельвеция — латинское название северо-западной части современной Швейцарии.

иногда бегающие глаза казались неискренними. Голосом звонким и громким – он выдавал тщательно подобранные фразы. Все вместе отражало работу над собой и постоянную заботу о своем образе. Было хорошим тоном показать, что ты еще непререкаемо важный «персонаж» в области «высокой моды».

Должен сказать, что мое место у Диора недолго оставалось вакантным. Молодые люди должны были бы биться, чтобы поступить в этот совершенно новый дом мод. Моим преемником стал Андре Левассер. Мы познакомились с ним позднее и быстро стали приятелями и сообщниками. Он стал впоследствии одним из лучших театральных постановщиков и возглавляет до сих пор монтаж спектаклей в княжестве Монако.

Кристиана Диора можно рассматривать как гениального новатора. Можно, мне кажется, сказать, что он строил свои платья, как архитектор. Жак Фас создавал свои коллекции взглядом фигуративного художника. Пьер Бальмен копировал из коллекции в коллекцию одно и то же «платье-рубашку, три пуговицы, пояс», просто меняя цвета и ткани. Робер Пиге... У этого была особенная и упрямая страсть: «темно-синий цвет и белое пике». Можно было быть почти уверенным, предлагая ему модель, где сочетались эти цвета и ткань, что получишь восторженное одобрение.

Марк Боан и я – мы были в отношениях, я бы сказал, несуществующих. Добрый день, добрый вечер, не более. Мы работали в одной комнате, стол напротив стола. Правда, нам нечего было сказать друг другу, и мысль о том, что надо сделать усилие, не приходила в голову. Мы были здесь как данность, наблюдая друг за другом и «прячась». Мы лицемерно играли в нашу личную игру с выпускающими, готовя наши собственные модели. Эта атмосфера, полная ограничений, держалась до того момента, пока мы фатально не вступали в открытую конкуренцию, то есть когда надо было показывать наши персональные модели «швейцарскому принцу». Вот тут-то и начиналась схватка. Наша взаимная антипатия и понятная долго сдерживаемая ревность выходили наружу при ярком свете большого салона. В рабочей обстановке и между профессионалами Робер Пиге выносил эту войну, которая в

глубине души должна была его забавлять. Он позволял молодежи критиковать друг друга более или менее страстно. Но когда он уставал от этой перепалки, он ее прекращал. Его вердикт был окончательным.

Мы задирали подбородок или опускали нос попеременно, в зависимости от принятого решения. Мы узнавали радости и огорчения в равной степени или около того. Партия была выиграна только после представления коллекций, притока покупателей и частной клиентуры. Победа выражалась в цифрах, то есть в повторении заказов одной и той же модели.

Вскоре произошел первый важный инцидент, касающийся моего «будущего». Кристиан Берар, толстый гениальный бородач, лениво рисовал замечательные костюмы для театра и кино. Он писал также красками, жонглировал пастелями, рисовал углем и был великолепен в использовании гуаши на черном фоне. Его воздушные рисунки были сделаны рукою мастера. Как-то днем я был вызван в офис Робера Пиге.

– Жан-Клод, вы знаете Кристиана Берара?

– Конечно, месье, кто же его не знает?

Я пожал пухлую руку этого гениального толстяка, вальяжно развалившегося в кресле. Он гладил маленькую собачку, устроившуюся у него на коленях, а другой рукой пощипывал свою начинающую седесть бороду. На нее падал пепел от сигареты, приклеенной в центре его маленького рта. Глаза ярко-голубого цвета, казалось, были вставлены в пухлые веки, но свет этих глаз был очень живым. Ирония, простодушие, безумие – там можно было прочесть многое. Аньес¹, Людовик II Баварский и Вольтер, – удивительная смесь.

– Вот о чем речь, Жан-Клод, – продолжал Робер Пиге, – Кристиан только что придумал костюмы к «Дон Жуану» Мольера. Этот спектакль ставит Луи Жуве в театре Атене. Он принес мне макеты женских костюмов, и мы должны их сделать как можно быстрее. Не хотите ли взглянуть на рисунки...

¹ Аньес Сорель (1422–1450) – фаворитка Карла VII. Изображена на известной картине Жана Фуке.

С предосторожностью и почтением я взял в руки два эскиза. Два чуда. Гуаши на черном фоне, готовые, чтобы вставить их немедленно в рамку. Все еще любуясь и держа их в руках, я как будто видел вновь декорации прошлогоднего спектакля в театре на Елисейских полях. Декорации были красные, гранатовые, фиолетовые. Цвета то смешивались, то сочетались друг с другом. Я вспоминал также костюмы знаменитого спектакля Жана Кокто «Рено и Армида», поставленного в «Комеди Франсез» в 1943.

– Вы ничего не говорите? – спросил Пиге, возвращая меня на землю.

– О, месье, мне нечего сказать.

– Это прекрасно, не правда ли?

– Это изумительно!

И, так как я остолбенел от просмотра, то был любезно выдворен для немедленной миссии: искать соответствующие ткани, которые подошли бы для костюмов Эльвиры и Матюрины. Материализовать рисунок Берара было делом непростым. Он был со мной невероятно терпеливым. Одинаково страстные оба, мы хотели только одного — увидеть результат. И он был удачным.

Эльвира была одета в черную блестящую ткань, схваченную местами на юбке так, чтобы отражать свет в форме звезды. Голову охватывал поток темной воздушной ткани. Для Матюрины взяли холстину в качестве ткани, а на ее голову водрузили шляпу в форме тарелки довольно внушительного диаметра. Костюмы удались, Берар был почти доволен, Пиге в восторге, а я слегка удивлен участием в чем-то весьма оригинальном.

Андре Клеман, хрупкая молодая женщина, высокая и бледная, с патетическим выражением лица и беспокойным взглядом, добровольно согласилась участвовать в последних примерках. На примерках другого костюма я не присутствовал. Не знаю, почему. Декорации, в которых действовали «наши» платья, можно считать шедеврами. Высоко-высоко аркады терялись в колосниках. Поразительно было увидеть столько смелости, точности, вкуса и воображения. Канделябры, перья на подставках и эти четыре стилизованных дерева посредине сцены со стволами дубов в глубине, имитирующих лес. Чудо! Браво, «Бебе», и спасибо!

После этой роскошной интермедии действительность вступила в свои права, то есть Марк Боан и я продолжили наш дуэт. Последняя коллекция была довольно удачной, Пиге, казалось, был доволен, хотя старался это скрыть. В конце года меня снова позвали в офис.

– Вот, Жан-Клод, надо нарисовать несколько макетов для костюмов, их наденет Эдвиж Фейер в английском фильме, который начнут снимать через месяц. Это современная история. Ей нужно будет сделать дорожный костюм, платье...

И Пиге начал мне перечислять количество и характер моделей, которые он собирается предложить этой великой французской звезде.

– Само собой, вы мне сделаете четыре, пять эскизов для каждой модели. Мы выберем вместе с ней. Это срочно, Жан-Клод, – сказал он, улыбаясь всеми своими зубами из желтеющей от табака слоновой кости.

И вот я бросился в эту новую работу. Гордый и польщенный, конечно, но и в панике перед поставленной задачей, которая казалась мне невыполнимой.

– Что она любит?

– Что она хочет?

– Что она не любит?

– Какие цвета?

– Какие формы?

– Объем груди, плечи, бедра. Какие они?

Потом я пришел в себя. Я никогда не был (как я мог!) ей представлен. И все же я знал Эдвиж Фейер. Я восхищался ею в кино, в многочисленных фильмах, которые я видел во время четырех лет оккупации. В мои 13-14 лет Эдвиж Фейер была для меня воплощением аристократизма и абсолютной элегантности. Это впечатление длилось многие годы. Я ее видел в «Мадемуазель Бонапарт», «Герцогине де Ланже» в театре Эберто в 1942, и я, конечно, восхищался ею и жалел Маргариту Готье в «Даме с камелиями». Я даже ее один раз увидел после спектакля, когда она садилась в велотакси. Я был поражен выражением ее лица вне сцены. Застывшая маска и неподвижный взгляд, который произвел на меня впечатление. Я прочел в нем суровость, в то время как на сцене она была сама нежность....

Теперь некогда было мечтать о лице этой прекрасной дамы, а нужно было заняться ее телом... чтобы его одеть. Рисунки вышли легче, чем я думал, и очень быстро. Это не было что-то особенное, но два или три мне нравились. Я отдал результат моей работы в руки «швейцарского принца» и ждал приговора. Он немного покашлял, слегка нахмурил брови, изобразил нечто вроде улыбки под седеющими безупречно подстриженными усами, а затем сказал:

– Хорошо. Это неплохо. Мне нравится вот это и вот это. А вот это платье совсем нет! Что касается костюма, я не уверен, что она такое наденет! Я посмотрю.

Это «я» говорило о многом. Это означало, что Робер Пиге сам займется Эдвиж Фейер и что у меня мало шансов с ней встретиться. Я считал себя несправедливо наказанным, лишенным привилегии. Я был обманут, грустен и зол. Случалось то, что я предвидел. Эта гранд-дама театра и кино выбрала несколько платьев и отказалась от других. Она выбирала ткани и цвета вместе со «швейцарским принцем», который, естественно, сам занимался отделкой и изменениями. Он был один на примерке вместе со своей выпускающей, которая подавала ему булавки.

Ни разу я не встретился с Эдвиж в это время. Фильм снимался в Лондоне с участием Стюарта Гранже. Это был его дебют в главной мужской роли до его блистательного успеха в США несколько лет спустя. Я так и не увидел «своего платья» на экране, так как фильм не демонстрировался во Франции.

Шли недели. Мы закончили вторую коллекцию, в которой я участвовал у Пиге. Мы слегка враждовали с Марком Боаном, как обычно. Мне стала надоедать эта вечная война среди тюля, атласа и финтифлюшек. И потом светский тон, который надо было копировать в этой обстановке, действовал мне на нервы. Все казалось искусственным.

Я не выносил больше это «Здравствуйте, ма-а-а-м» и эти бесконечные приседания, гримасы и комплименты толстым богатым дамам, которые думали, что они элегантны только потому, что заплатили целое состояние за свои платья. Я больше не мог существовать в этой атмосфере курятника. Щебетание продавщиц, лесть из первых рук, разговоры манекенщиц, – любая деталь приводила меня в

отчаянье.

Наверное, я устал. Мне необходимо было отдохнуть, уехать туда, где воздух, солнце. Все равно куда. К несчастью, я поступил сюда в октябре 1947, а сейчас был март 1948. Слишком мало, чтобы претендовать на отдых. Я был погружен в себя, когда произошел новый инцидент, который решил мою участь. Это произошло банально, и я подумал, что это просто ошибка.

– Вам кто-то звонил.

– Да? И что?

– Он сказал, что перезвонит.

– Кто это?

– Мишель Оклер

– Мишель Оклер?

– Да, Мишель Оклер

– Я не знаю такого. Во всяком случае лично.

– Он говорит, что да.

– Это невозможно.

Мишель Оклер становился тогда «любимчиком» Парижа. Если мне не изменяет память (40 лет прошло), он блистал в «Бале лейтенанта Хельта» в театре Матюрен. Он только что снялся в «Проклятых» с Анри Видалем у Рене Клемана, одного из великих французских режиссеров. И он собирался сниматься в «Манон» (современная версия) у Анри Клузо. Мишель Оклер был уже звездой и бегом преодолевал ступени, ведущие к признанию. Что у этого киноартиста было общего со мной?

Ответ пришел по почте. Это было письмо, адресованное в дом Пиге.

«Я не мог тебя застать по телефону до моего отъезда из Парижа. Позвони мне на следующей неделе. Я жду. Подпись – Мишель Оклер. P. S. Эту тайну тебе раскроет фотография.» На фотографии были изображены два мальчика-брюнета в серых костюмах Итона с белыми повязками на левой руке. Внизу были дата и место действия: «Аннель, июнь 1938».

Я прекрасно узнал этих двоих. Тот, что побольше и постарше, был Пьер Вужович. Тот, что поменьше, был я. Но какая связь с Мишелем Оклером? Я вертел этот моментальный снимок и ничего не понимал. Я перечитывал письмо и

не находил ключа к разгадке.

Аннель. Название частного колледжа, расположенного в окрестностях Компьеня, где я учился несколько месяцев. Я его покинул после моего первого причастия. Во время короткого пребывания в этом прекрасном месте я подружился с двумя старшими ребятами: с Пьером Вужовичем, сербом, и Мишелем Пикколи.

Мои старшие друзья меня опекали во время потасовок и игр между пансионерами. Я их обожал, как любой ребенок, которого мимоходом и с улыбкой защищают сильные и авторитетные друзья.

Перед тем, как покинуть колледж в июле 1938, мы поставили спектакль «Маугли» по Кипплингу. Я сейчас уже не помню, кто из этих двух мальчиков играл шакала Табаки, а кто пантеру Багиру, но точно помню, что был в ярости, получив роль волчонка в массовке, где выл среди таких же, как я. Потом были другие колледжи, разлучившие нас, потом война, потом оккупация.

Конечно, я позвонил Мишелю Оклеру. Все выяснилось. Мы встретились и бросились друг другу в объятия. Он просто сменил имя. В то время те, кто предназначались для артистической карьеры, изобретали себе красивые имена, которые звучали очень по-французски, преимущественно короткие, так как их было легко запомнить. В то время как Вужович... Несколько недель мы почти не расставались, обедали вместе одни или с его друзьями.

Тогда же я побывал за кулисами театра Матюрен. Изнанка кулис – то, что простому зрителю недоступно, – привлекала меня. Мне было все интересно. Я задавал сто вопросов, смотрел, слушал, удивлялся. Я приходил от удивления к открытиям. Я был ослеплен этой новой вселенной. Она открывалась мне внезапно и ослепляла. Разговоры, которые велись между артистами, режиссерами, работниками сцены, людьми театра и кино, кружили голову. Было впечатление, что я попал на другую планету, и – что больше всего меня удивляло, – я чувствовал себя хорошо. Там был другой воздух.

Жан Марша попросил меня нарисовать костюмы для

«Британника»¹, которого он собирался поставить. Ему нужны были также декорации и костюмы для «Двойного непостоянства»², но это потом.

С прекрасной бессознательностью я кидаюсь в авантюру, принимая себя всерьез и уже видя себя равным Берару и ему подобным. Я продолжаю работать у Пиге, но мое сердце уже не там, моя голова тоже. Я мечтаю только о театре, декорациях, свете и прекрасных костюмах. Еще немного, и я увижу себя на сцене. Я так часто погружен в эти мысли о спектакле, что ничто другое меня не интересует. Я не только это чувствую, но и представляю, и готов признаться в этом. Я не прав.

По-прежнему бессознательно, воспользовавшись враждебной выходкой Марка Боана и тем, что Робер Пиге взял сторону моего антагониста, я уперся. Я решил уволиться и покинуть Пиге, хлопнув дверью. Тот начал меня успокаивать. Напрасно.

Я упорствовал, упрявился. Я все объяснял моими разногласиями с Боаном. Но сам я понимал, что это плохой аргумент. Пиге настаивал. Он говорил, что у меня талант и что мое повышение не за горами. И что я буду делать, если я от него уйду? Я ему честно отвечал, что я еще не знаю. Но я врал, так как уже воображал себя в театре и способным поразить театральный мир так же, как Кристиан Диор взбудоражил мир моды. Я ни в чем не сомневался.

Пиге предлагал мне все, что было возможно: старшинство над Боаном, прибавку к зарплате, отдельное помещение, ответственные заказы, отпуск. Упрямый, как набитый дурак, и претенциозный, как павлин, я отвергаю все предложения. Я совершенно обезумел. Околдованный, ослепленный, загнипнотизированный театром и тем, что он представляет, я не отдаю себе отчета в том, что собираюсь совершить непоправимую ошибку. И, как полный идиот, я отступаю, думая, что перешел Рубикон и уже иду к славе. Пиге вдруг раздосадован и грустит, что меня удивляет, но я не думаю об этом. Я ухожу.

¹ «Британник» – пьеса Расина.

² «Двойное непостоянство» – пьеса Мариво (1688–1763), известного французского драматурга XVIII века.

Рене Грюо, Кристиан Диор, Юбер де Живанши (который очень успешно начинает), все мои друзья в ужасе от моего решения. Меня увещевают, убеждают, мне объясняют, доказывают, настаивают, беспокоятся, сетуют. Мне говорят, что еще не поздно все устроить у Пиге. Я отказываюсь, упершись, как осел! Я глух и слеп. Я совершаю ошибку. 25 лет спустя я совершу подобную же ошибку, последствия ее будут фатальными...

Мои рисунки костюмов для «Британника», которые я триумфально приношу Марша, оценены как «великолепные», «изумительные», «необыкновенные»... но слишком дорогие, если их осуществить. – «У нас маленький театр, а это дорого.»

Декорации для «Двойного непостоянства», над которыми я столько работал, положили в стол... на потом. Марсель Эрран болен. Жан Марша на гастролях. А Мишель Оклер уехал из Парижа снимать натуру его будущего фильма.

Июнь. Тепло. Париж великолепен и веселится. Я же больше не смеюсь. Я начинаю отдавать себе отчет о сделанной ошибке и ее последствиях. Приходит беспокойство. Мне не удастся себя взбодрить. Напрасно я рассказываю себе разные истории и пробую сам в них поверить. Где-то там в глубине тихий голос осуждает меня строго и отчетливо, и я его слышу. Мне не по себе. Я понимаю, что я наделал. Мне страшно.

С высоты террасы дворца Шайо я смотрю на мост Йена, на Эйфелеву башню, Марсово поле, Военную школу, – как будто в первый раз. Все изменилось. На все, что было мне знакомо, я смотрю другими глазами. Сердце колотится. Вот-вот брызнут слезы. Через несколько месяцев мне стукнет 21. Я думаю о Растиньяке: «Поборемся, Париж!» И я признаюсь себе, что для меня это время прошло. Я его пропустил. Я хандрю.

Июль. Диор, Грюо, большинство вчерашних друзей уехали на Лазурный берег. Мне мило сказали, что меня тоже ждут, но тоном, в котором не было искренности. Я почувствовал, что я не очень-то желателен. Итак, я еду в Бретань. Все равно, куда. Почему бы нет. Я там трачу свои последние сбережения. Если я и наслаждаюсь морскими деликатесами,

то часто наливаю стакан. Легкое опьянение успокаивает нервы и дает иллюзию благополучия. Я туда трусливо погружаюсь, понимая, что это плохой выход.

Вернувшись в Париж в конце августа, я понимаю, что, так или иначе, должен решить ряд проблем. Самая важная это «хлеб насущный». Без работы – я без денег.

Когда я вернулся из армии повзрослевшим, моя семья со стороны отца мне настойчиво посоветовала разобрататься вместе с моей мамой по поводу наследства моего умершего отца. Было очень тяжелое объяснение у адвоката, после которого я решил больше ничего не просить. Это совершенно изменило характер моих отношений с отцовской родней. Но моя привязанность к бабушке и бабушке, которые меня обожали, не изменилась, слава Богу.

Я жил тогда некоторое время в громадной квартире на пятом этаже на улице Фэзандери. Моя бабушка с материнской стороны Рене Лемуан-Ворс там царила грациозно, элегантно и благородно (полновластно тоже) среди множества комнат, обставленных с тонким вкусом.

Она была еще красива. Ее породистое лицо освещали лучистые голубые глаза, которые смущали меня, когда я был маленьким... Ей было слегка за 60, и она сохранила без всякой краски свою черную, как смоль, шевелюру без единого седого волоса. Энергичная, преданная, набожная, она тщательно скрывала свою врожденную доброту за ворчливостью характера. У нее были принципы. Предполагалось, что их должно исполнять и уважать. Она прощала фамильярность только тогда, когда та была прикрыта прекрасным воспитанием. Она умела смеяться, петь, аккомпанируя себе на своем «Плейеле»¹, вязать, как все бабушки, и предпочитала юмор шутке. Она выбирала себе друзей, любила их и умела их сохранить.

Ей было немного одиноко в этой огромной квартире, и она встретила меня с распростертыми объятиями, когда я попросился к ней на постой. Она предоставила мне большую спальню и ванную комнату. Верная Жанна – горничная, кухарка, доверенное лицо, знавшая меня со дня рождения, –

¹ Игнац Йозеф Плейель (1757–1831) – французский композитор и издатель, основатель фортепианных фабрик, существующих и поныне.

руководила всем в этом доме.

У нас с бабушкой была «коммуна», но отдельная. По негласному договору каждый жил, как хотел, сохраняя свою независимость. Я часто завтракал и обедал в городе, и мы встречались за обеденным столом, только когда мы заранее договаривались. У нас были рандеву. Это было забавно. Она была кокетка и наряжалась по вечерам. Я ей делал комплименты или критиковал ее платья. Мы спорили, говорили о литературе, о моде, о музыке. Милая парочка! Редкие бабушки не ладят со своими внуками.

Действительность, которой надо было смотреть прямо в глаза, была не так уж забавна. Осень в Париже. Красные каштаны, мокрые тротуары, серая дымка и, что самое неприятное, – исчезновение средств. Это приводило меня в плохое настроение и беспокоило с каждым днем все больше и больше. Что делать? Куда идти? В какую дверь постучаться?

Когда деньги кончились, я пошел к Рене Грюо, чтобы все ему рассказать: мое беспокойство и отчаяние. Он понял, что время уговоров прошло и не нужно глубже загонять гвоздь. Он был достаточно умен и деликатен, чтобы не сказать мне: «А ведь тебя предупреждали!» Короче, он сделал то, за что я ему до сих пор благодарен. Он нашел мне работу!

В начале октября я поступил к Анни Блатт. Эта женщина владела большим магазином на бульваре Османн. Там производили разнообразные пуловеры всех цветов для дам. Ее предприятие не было модным, но дело шло неплохо и опиралось на верную клиентуру. У Анни Блатт был муж. Южанин, седоватый, упругая походка. Он сомневался, какую роль он должен здесь играть. Он был одновременно бухгалтером, администратором, инспектором готовой продукции. Он изображал бурную деятельность и относился к себе очень серьезно, поучая других, надо или не надо. Короче, он был надоедлив, бесполезен и неудобен.

Что касается мадам, извините, я не способен ее описать. Я ее не запомнил. Единственное, что я помню, – это была блондинка небольшого роста. Бывают провалы в памяти. Я принял предложение этой дамы, с подачи Грюо, с большим энтузиазмом. Она перечислила целый список того,

что я должен был делать у нее за очень скромную зарплату, которую она мне предложила «для начала». Это было неважно. Она могла бы меня попросить готовить еду, делать уборку, я бы на все согласился, так я был счастлив, найдя это место.

С большим желанием я принялся за работу. Наброски коллекции пуловеров весны 1949, новые оттенки, оформление витрин, показ моделей... Короче, я занимаюсь всем этим. Всем, что меня касается, и всем, что меня не касается. Мне 21, я хочу преуспеть и доказать. Это слишком. Это вызывает несколько довольно едких и, может быть, правильных замечаний со стороны мужа мадам. В результате чего я дуюсь в своем углу, скриплю зубами и стискиваю кулаки в карманах.

Лавка на бульваре Османн очень удобна для меня географически. Она в двухстах шагах от улицы Матюрен, 300 метров от театра. Я туда устремляюсь сразу после работы. Там меня всегда ждут. Я присутствую на репетициях. Я захвачен тем, что происходит на сцене: конструктивные диалоги между режиссерами и артистами, перепалки, поздравления, хлопанье дверей и опять поздравления.

Я наблюдаю, пассивный, но внимательный, за всем, что происходит на сцене. Я пытаюсь влезть в шкуру актера, который репетирует, и хочу понять все «почему» и «потому», и как берутся за роль, на что нужно обратить внимание, что пропустить в воплощении того или другого персонажа. Мне гораздо лучше в театре, чем у мадам Блатт! Прошло несколько недель, медлительных и нервных днем и восхитительных и обаятельных вечером.

Тем не менее в глубине души я неспокоен. Мне не по себе. Что происходит? Что-то вроде сомнения проникает, проскальзывает коварно в мою голову. Я плохо себя чувствую, и я боюсь сказать себе правду. Я боюсь посмотреть ей в глаза. Начиная с июня, я не видел никого из моих друзей (Грюо не в счет, и, по известным причинам, я встретился с ним лишь однажды). Никто мне не позвонил после отпуска, хотя в это время года все ходят друг к другу обедать и перезваниваются по несколько раз в день. Мне не звонят. Я ставлю точку. Мне больно. Потому что я слишком хорошо знаю, что произошло.

Когда я ушел от Диора к Пиге, это не было событием. В нашем маленьком кругу говорили тогда: «Это даже очень хорошо для Жан-Клода. У Диора привычка не давать кому-то другому развернуть свой творческий талант. В то время как у Пиге – он сможет...» и так далее. Мой уход от Пиге не произвел водоворота в профессии, нет. Всего лишь неожиданность и некоторое удивление, может быть. «Куда он пойдет? У него наверняка есть какая-то идея.»

Летом некоторые задавали себе мимолетный вопрос, просто так, случайно, во время разговора на пляже. Я не был важной персоной, чтобы заниматься мною серьезно и говорить о том, что я собираюсь делать.

Катастрофой, вне всякого сомнения, была новость о том, что я работаю у Анни Блатт. С мая 1947 я спустился по склону вместо того, чтобы подниматься. За 18 месяцев все обвалилось, – так как это целый мир между Авеню Монтень и бульваром Османн. Это все равно, как если бы я выехал из шикарного дуплекса на Авеню Фош, чтобы устроиться в мансарде в квартале Батиньоль. В Париже не любят тех, кто падает. А я упал...

Какого черта это произошло, такое падение за короткое время? Я вспоминал радостные моменты совсем недавно с Юбером де Живанши. Теперь я наблюдал за его эволюцией и блестящим успехом. А что произошло со мной? – Полный провал! У Юбера был такой успех, что некоторые шептались о какой-то финансовой группе, которая серьезно собирается ему помочь основать свой собственный дом мод.

Честно говоря, я с детства был подвержен почти постоянно скрытой чрезмерности. В моих радостях и в моих печалях я уходил слишком далеко. У меня была и еще есть мания все преувеличивать. Мое счастье было полным. Мои несчастья часто драматичными. Я не излечился до сих пор от этого, и это мне не помогало жить, поверьте. Итак, в ноябре 1948 дела идут не так, как мне бы хотелось, и мне некого винить в том, что произошло. Я себя грызу. Я выгляжу ужасно и мрачен, как заключенный. Свои единственные радости я нахожу в театре Матюрен, где я смотрю и слушаю других и стараюсь понять все, что они делают. Я ничего не говорю. Я жду. Чего? Не знаю. Потопа! Чуда! Ни то, ни другое не происходит. Но всего лишь маленькая фраза все

изменит. Мишель Оклер вернулся со своих съемок и появился в театре. Радость встречи, обеды, диалоги, а потом серьезные разговоры. Он мне рассказывает, что он делает, что собирается делать, на что надеется. Он счастлив, это видно и слышно.

– А ты?

– Я?

– Да, как дела?

– Плохо!

– Почему?

– Я в дерьме!

– Вот это не надо!

– Я знаю...

– И что?

– Что делать?

– Сменить контору.

– Нет, невозможно. Я спутал все карты. Слишком поздно.

– Тогда, смени все!

– Что ты хочешь сказать?

– Смени занятие!

– Ты шутишь! Я ничего не умею, кроме того, что я делаю... да и то плохо, потому что больше в это не верю.

– Ты полный идиот. Ты не имеешь права опускать руки в твоём возрасте.

– Но что же мне делать?

– Э... Делай, как я.

– Что?

– Театр!

– Я?

– Да, ты! С твоей-то рожей...

Разговор длился долго. Я слушал, запоминал аргументы, перечисленные Мишелем. Мысленно я делал заметки, отмечал сказанное. Он мне рассказывал о себе, о дебюте и трудностях, которые ему встретились и которые он преодолел. Он рассказал мне о кознях, ловушках, промахах и нестыковках. Он говорил о надеждах и о цене побед. Он настаивал на усилиях, постоянных и ежедневных, и на упорстве, которое необходимо, чтобы дойти до цели. Он мне поведал о сомнениях, страхах, отчаянии тех, кто кидается

управлять самими собой. Он назвал мандраж, как необходимое испытание, которого никто не может ни обойти, ни избежать. Он объяснил, что, наоборот, как некоторые могли подумать, он «опирался на свой страх» как раз для того, чтобы воспользоваться им, как трамплином, который помогал ему добиться точности в интерпретации. Он рассуждал об удаче и о важности быть там, где нужно, и когда это нужно.

Мы расстались очень поздно тем вечером. Он, страстный, усталый, счастливый. Я, возбужденный, разбитый, потрясенный. Мы оба сознавали, что провели эти часы не зря. После этого долгого разговора у нас были другие, частые и более короткие. Если я собирался сделать то, что я называю «смертельный номер», как мне действовать? К кому обратиться? С какого конца начинать?

– Конечно, Жан Марша смог бы тебе давать уроки, но он очень занят... И Марсель Эрран тоже. На твоём месте я бы пошел записаться на курс Рене Симона. Он замечательный. Большинство сегодняшних артистов прошло через него. Да, на твоём месте я бы пошел именно к нему. И быстро! С твоей-то рожей...

Решение было трудно принять на всех уровнях. Речь шла о полном пересмотре, о старте снова с нуля. Трудный шаг для прыжка. Реакция моих двух семей. Очевидная и окончательная потеря моих друзей из мира моды и большой риск, если говорить об успехе.

Было ли у меня, действительно, желание «играть комедию»? И прежде всего был ли я на это способен? Были ли у меня внутри скрытые способности, чтобы броситься в авантюру, которая казалась мне несоразмерной? После всего того, что рассказал мне Мишель Оклер о всех трудностях, с которыми он столкнулся прежде, чем добился успеха, должен признаться, я сомневался.

В конце ноября 1948 я пережил моменты достойные пера Корнеля, стансов¹ в том числе. Я это сделаю? Не сделаю? Это глупость или решение? Ответ пришел с неожиданной стороны, откуда я меньше всего ожидал, в образе месье Блатта, если можно так сказать.

¹ Стансы – классическая форма эпической поэзии.

Вечером, когда мы собирались закрывать лавку на бульваре Османн, он бросился в яростную критику, обвиняя меня в том и в этом, разрушая все и издеваясь с прекрасной беззастенчивостью над всем тем, что я сделал. Он говорил и говорил, кричал, орал, был опьянен звуками своего собственного голоса, все нагнетая и раздувая критику. Он говорил очень громко и несправедливо. Я ненавижу несправедливость.

Какой черт меня попутал? Воспользовавшись моментом, когда он переводил дыхание, я ему заявил спокойно и очень четко, что раз дела идут так плохо, я считаю, что мне следует уйти. А он больше не должен рассчитывать на мои услуги. Я не приду ни завтра, ни послезавтра, никогда больше. Я вежливо добавил, что я прошу любезно передать поклон его супруге от меня. И я ушел, вот так. Просто. Может быть, его уже нет в живых, этого месье. Тем не менее мне бы хотелось, чтобы он знал, что я на него больше не сержусь. Нет! Он мне оказал большую услугу.

Оставалось сделать самое трудное. Для начала остерегаться оступиться по незнанию или неловкости. Осторожно! Сначала предупредить семейства (выражение безрадостное и еще более трудное, так как речь идет о тяжелой миссии, которую я на себя возложил).

Не было громких сцен, когда я рассказал всю правду и объявил о моих проектах. Против всякого ожидания, моя мама расхохоталась и сказала, что «я имею полное право сам выбирать себе дорогу, и что умнее стать кинозвездой, чем продавать шерстяные изделия на бульваре Османн». Она добавила с иронией, ей свойственной: «Хотела бы я увидеть лица твоих отцовских родственников, когда ты им сообщишь, что собираешься подняться на подмостки.»

– Я им позвоню сегодня вечером и пойду к ним завтра!

– Ты мне расскажешь, как все прошло...

И вуаля. С материнской стороны – зеленый свет. Партия выиграна наполовину. Осталось предупредить отцовскую половину... другой тип крепости, которую нельзя было брать ни тем же оружием, ни с помощью тех же аргументов.

Лемуан, Ворс, Картье, Ревильон – это были творцы,

великие кутюрье, ювелиры и меховщики. Они составляли «весь Париж» роскоши вот уже многие поколения. Не было ничего необычного, что один из них захотел в свою очередь изобрести что-то новое. Выдумка была наследственной. «Королева-мать» добавила в конце нашего разговора втроем забавную нотку.

– Твое решение не сделает столько шума, сколько сделал твой прадедушка Ворс. Это был скандал на весь Париж, скандал, который обеспечил наше собственное состояние. Ты ведь знаешь, что это он придумал дома мод и показ моделей на живых манекенах. До него красотки прошлого века, аристократки и буржуазки обшивались портнихами на дому. Твоему прадеду пришла в голову идея попросить свою собственную жену представить у него дома несколько моделей императрице Евгении и нескольким придворным дамам из Тюильри¹.

Успех был мгновенным. Императрица заказала шесть платьев... Дамы императорского двора, Париж и европейская клиентура устремились к Ворсу, чтобы быть «в моде».

То, что ты собираешься сделать, не более экстравагантно, чем то, что сделал твой прадед в то время. Вперед! Дерзай! Но, умоляю, победи!

Мои дедушка и бабушка с отцовской стороны поместили свою роскошную в два этажа квартиру с садом на авеню Бретей на другую, тоже прекрасную, квартиру на площади Инвалидов. «Заводы на Сомме» были полностью разрушены бомбардировками 1939–40. Они решили, что нужно значительно сократить свой парижский образ жизни. Этот дедушка был очень деловой. Эта бабушка была сама нежность.

Он, – умный и неутомимый трудяга, – был всегда страстно погружен в усовершенствование своих достижений. Это был человек сухой, небольшого роста. Он всю жизнь сожалел, что ему не хватает нескольких сантиметров. У него был большой нос, маленькие глаза, он носил бородку и усы. От него пахло лавандой. Он говорил мало и целыми днями долго заполнял карточки, чтобы ничего не забыть. Он

¹ Тюильри – дворец французских королей.

их аккуратно складывал в два черных бумажника крокодиловой кожи. Нервный и властный, он бывал полностью безоружен, если дело касалось его собственных детей. Если что-то шло не так, как он предполагал, в этом, конечно, была виновата бедная бабушка. В ее миссию входило все поправить, и не всегда по ее доброй воле. Она должна была расплачиваться за ошибки, в которых он был виновником. Он об этом забывал и не вспоминал. Очень привязанные друг к другу, они составляли пару, которая прекрасно ладила...

Моя бабушка была создана, казалось, чтобы служить ему во всем. Я никогда не слышал, чтобы она повышала голос. Ее девичья фамилия была Граверо. У нее было восемь братьев и сестер, с которыми были очень теплые отношения. Ее отец Жюль Граверо, душеприказчик мадам Бусико (магазины Бон Марше), удалился от дел, когда ему едва исполнилось 40 (счастливое время!). Он купил двенадцать гектаров земли в окрестностях Парижа. Тогда там еще была деревня. Там моя бабушка жила в молодости со своими родителями, братьями и сестрами в прелестном доме XVIII века, расположенном рядом с громадным парком, ставшим частично «розариум». В холодное время года все обширное семейство возвращалось в частный дом на улице Вилар. Буржуазный рай конца века... не лишенный приятности, смею думать. Именно здесь мой дедушка попросил руки моей бабушки и получил согласие. И все это благодаря дружбе в колледже с одним из братьев невесты...

Моя бабушка была до самой смерти одним из двух самых важных существ в моей жизни. Я часто думаю о ней. Я легко могу ее себе представить и услышать даже звук ее голоса. Ничто не ушло из моей памяти. Мягкий жест, размеренный голос, скромная элегантность, легкий аромат (фиалка и мелисса). Она сумела сохранить свои красивые руки, которые она открывала летом. Когда она говорила с вами, она смотрела на вас взглядом своих прекрасных светло-серых глаз. Я не встречал ничего лучше. Она не была «красива», но была очаровательна, приветлива, мила, сердечна по натуре и в отношении меня нерушимо преданна (я обвиняю себя, что слишком этим злоупотреблял). Она осталась навсегда моей самой большой любовью; другая любовь, которую я узнал, не может с ней сравниться.

И вот уже середина декабря 1948. Из большого салона видны купола Les Invalides¹, если выйти на балкон. Но никто из собравшихся об этом не подумал. Сидят и молчат в ожидании близкие представители отцовской семьи. Мои дедушка и бабушка, старший брат моего отца, который на него очень похож, худой и длинный, как Дон Кихот, но без бороды, без ветряных мельниц и без шарма. Нос тукана, плохие зубы (старая слоновая кость), лицо кисти Эль Греко, переписанное Гойей. Голос тонкий, неровный, носовой, который выдает иногда удивительные фразы. Он очень умен, но «если будешь еще ленивее, чем он, умрешь». Он курит вонючий табак из мундштука 1930-х годов уже лет двадцать.

Затем старшая сестра моего отца и моя крестная к тому же. Тонкая, белокурая, в бледно-голубом, элегантная, изящная. Живая пастель. Нельзя сказать, что хорошенькая, но бесконечно соблазнительная. Приветливость от матери, но тонкие губы от отца и... половина его носа. Она бесконечно снисходительна на мой счет, так как я сын ее обожаемого брата.

Пятый персонаж ходит по комнате руки в карманах, курит белый табак, сморкается, листает журналы, кладет их на место, слегка посвистывает. Нервный. Почти такой же длинный, как его брат, он не унаследовал его агрессивную худобу, но нос такой же. У нас 15 лет разницы, и он меня давно считает препятствием для своих будущих проектов обладания семейными фабриками.

Мы здесь не для того, чтобы обсуждать грядущее Рождество, а чтобы присутствовать на процессе, где обвиняемый я. Внутренне я распределил роли. Я сам обеспечиваю свою собственную защиту, без адвоката. Мои бабушка и тетя будут присяжными, увы, слишком скромными и слишком сдержанными, чтобы влиять на судьбу, которым, конечно, будет дедушка. Мои два дяди превратятся, я уверен, я это чувствую, в агрессивных прокуроров Буржуазной Республики.

Я не опишу поминутно этот процесс. Он длился несколько часов... Атмосфера была тяжелой и раздражающей,

¹ Les Invalides – комплекс зданий, в том числе музеи и памятники, отражающие военную историю Франции. Могила Наполеона.

тем более что мужчины были заранее настроены против. Их убежденность опиралась на очень старые критерии. Обе женщины, сидевшие в ряду немых свидетелей, не решались вставить хоть слово. Их бы просто одернули.

Войдя в игру, я почувствовал, что партия проиграна, но, обреченный быть непреклонным, я защищался со всей силой молодости, с гордостью и убежденностью. Что мне помогало в этой трудной задаче? Наблюдая и слушая этих трех мужчин, я чувствовал себя способным сделать все, что угодно, только бы не быть похожим на них. Узость их взглядов, резкий тон, их фальшивые и безапелляционные аргументы вызывали во мне отвращение. Я испытывал необходимость отдалиться от людей, которых считал мелочными. Я был – теперь я в этом уверен, – из другой конюшни. Мне говорили и повторяли, что мой отец совсем не был на них похож. Не без труда, но я теперь убедился в этом – с облегчением.

Надрав горло, накричавшись, каркая и каркая, мои дядюшки устали кусаться. Это, на самом деле, их не касалось. С того момента, когда я больше не посягал ни на их привилегии, ни на их кошелек, им было наплевать на мою судьбу. В конце концов, если я хотел стать шутом...

Мой дедушка был против, он страдал, был разочарован и зол. Бабушка, расстроенная, плакала. Моя тетя смотрела вниз и перебирала свои кольца. В тишине мой старший дядя заявил:

– Естественно, чтобы стать актером, ты должен сменить фамилию... У меня еще не было времени об этом подумать.

– Само собой, — сказал я.

– Ты не имеешь права трепать наше имя по подмосткам!

Тогда, пораженный оскорбительной убогостью, я ответил фразой, которая удивила меня самого (высокопарно и театрально уже!):

– Ваше имя известно только трикотажникам, а мое будет, может быть, известно всем.

Тут я немножко перегнул палку. Мальчишка 21 года, который еще ничего не сделал и успех которого был гипотетическим в мире, о котором он ничего не знал, и

который ничего не знал о нем. На этом месте мой младший дядя задал вопрос, который заставил меня расхохотаться.

– А если он будет успешен... как люди узнают, что мы родственники?

Кроме моего смеха, никаких звуков не было больше слышно в салоне. Часы пробили восемь.

Продолжение следует.

Надежда Бесфамильная

Стихи

Все луга мне – только Бежины

На родине И. С. Тургенева, в Спасском-Лутовиново

Время к лету переманное,
Солнцем налитое всклень,
Незабудки с одуванами,
Одичавшая сирень.

Вот же, вот они, утешные,
Взять с собою да унести!
Все луга мне – только Бежины,
Что в округе этой есть.

Как скатерками раскиданы
Меж оврагов и ключей,
Где стекает под ракетами
В пруд с пригорочка ручей.

Воля головокружейная!
Зреть да, слов ища простых,
В храм войти Преображения
Ко иконе Всех Святых

Принаряженною бабою,
Под батистовым платком...
Но влекусь в Париж и Бадены
То в охотку, то силком,

Где в душе тоска поселится
Леденее леденца,
Мне на Слово ставить жерлицу
Да насаживать живца.

Массандры, саламандры, сколопендры...

«Что-то в ней есть жалкое все-таки.»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой».

1.

Меняют дни восходы на закаты
Однообразно, вяло, беспредметно,
А Крым провинциален, что Саратов,
Массандры, саламандры, сколопендры...

Но как рукой смахнет следы покоя,
Когда волна предчувствия нахлынет,
Наполнив ароматами левкоев
Настои моря и степной полыни.

Лучистый взгляд открыт и беззащитен,
Под кружевом точеная фигурка,
И верный шпиг при ней – не даст обидеть,
А Вы пропали, Дмитрий Дмитрич Гуров...

Она влечет изяществом покроя
Не платья(!), но непостижимой сути...
Да пусть случится что-нибудь такое,
Чего с другими никогда не будет!

2.

Случится то, чего не замышлялось
В благополучье будничных идиллий...
Любовь по-русски множится на жалость.
...Вы до Нее когда-нибудь любили?

Прозрение обрушится не сразу –
Потом, когда ночами станет сниться...
Ваш многократный опыт с «низшей расой»
Не стоит на руке ее мизинца!

Провинция, столица – все убого,
Условностей расставлены капканы,
И тянется железная дорога,

Где в поездах не действуют стоп-краны.

Тоскливым ожиданьем перемены
Пометит время годы, лица, судьбы,
И станет жизнь мерзейшей мизансценой
К Тому, что с Ними никогда не будет...

Июльская памятка

Ich sterbe (их штэрбе) – я умираю – последние слова, сказанные А. П. Чеховым доктору перед смертью ночью 15 июля 1904 г. (2 июля по старому стилю) в немецком курортном городке Баденвайлере.

И месяца нету июля сочнее...
Гречишное поле за садом тучнеет,
И мед набирается в сотах – гречишный –
Под вишней.

Событий, людей и времен перемены...
Был вырублен сад до седьмого колена,
Земля зарастала в нем семенем сорным
Покорно.

И хочешь, но чем возразить здесь по сути?
Деревьям людские начертаны судьбы:
Наивен, расчетлив, грешен, безупречен –
Не вечен.

Но ветер тяжелые ветви колышет...
Откуда на пустоши тучные вишни,
Зачем безвре́мью – вишневого сада
Отрада?

За тем ли, чтоб в новой грядущей потехе
Маячили памятью лучшие вехи,
Чтоб место душе на вишневом откосе
Нашлось бы?

Чтоб ветви ломало под тяжестью вишен,
Чтоб плакало сердце от тяжести слышать

Как плачет июль, отходящий в ущерб:
Ich sterbe...

Балтийское притяжение

Руте Марьяш

Цикорий, повилика, иван-чай,
Ромашек многодетные семейства,
Разливы солнца всюду – повсеместно
На утра узнавания печать.

А дальше – сосен пышные вихры
И в дымчатой испарине черника,
Янтарная волна и чаек вскрики,
Беззвучный шепоток прибрежных рыб...

И вот она – на семеро замков
Закрытая, невызнанная тайна:
Страницы волн листает и листает
Луч солнца сквозь завесу облаков.

Увидится, что воды и песок –
Два бока у одной гигантской рыбы,
В горизонтальном призрачном изгибе
Сканирующей берега мысок.

И верхний бок – воды живая рябь,
И нижний – чешуя песков придонных –
Мерцанием неспешным, монотонным
С лица времен и лет стирают явь.

.....
Приноровившись к холоду воды,
Я все бреду, бреду по мелководью,
А тайна, усмехаясь, за нос водит,
С песка смывая памяти следы.

И пишет, пишет тихая волна
За строчкой строчку в вечность письма...

Ах, mein Piter, Петя, Петенька

Наблюдая за белкой в Петергофском парке

Лист оранжевой отметиной
В пруд слетает, будто в чай,
Ах, mein Piter, Петя, Петенька,
Не моя ли ты печаль?
 Не мое ли удовольствие –
Этот северный плезир,
Что диковиной заморскою
Ты по-русски замесил?
 Мне бы век твой черпать горстками
Из лазоревых ключей,
Рыжей белкой петергофскою
На твоём мелькнуть плече
 И, лучась от тихой радости,
Что светлеет грозный лик,
Затеряться в безопасности
Диких зарослей брусник.
 (Ведь, пускай и не сановная,
Но не щипаный же гусь:
Соболям сестра некровная,
На шубейку пригожусь...)

.....
По лазури – лист березовый
Покидает небеса...
Дело двигается к осени,
Время движется назад.

Апрель. Исаакиевская площадь. Вид из окна

Грустящая рань непогожего цвета
Предстанет в огромном окне...

... Чем чаще срезаешь отросшие ветви,
Тем кружево кроны плотней.

В холодном, как невские воды, апреле,
Что с осени дух врачевал,
Весну узнаешь по отсутствию в сквере
Листвы, облетевшей вчера.

В своих лапидарных конторских одежках
Любуйся на мир изнутри,
Сирени ты в этот приезд не дождешься,
Хоть окна до дыр просмотри.

Но сердце ведется на зябкую скупость
Апрельских невызревших ден,
Когда вместо солнца – Исаакия купол
На дыбе коринфских колонн.

И, снизу до купола перебегая,
Светлеет докучливый взгляд:
Ужель Монферран капитель подстригает,
Чтоб лучше кустился акант?..

Здесь самое время встряхнуться, окститься,
Умерить видения прыть
... Но хочется корюшке дерзкою птицей
По серому небу проплыть.

Отмолите, особоруйте

Перед Храмом на Крови в Екатеринбурге. Храм воздвигнут на месте дома купца Ипатьева, где была расстреляна семья Николая II, все его пятеро детей.

Отмолите, особоруйте
Песнью крыльев-тайничков –
Даже день июльский в городе
Глохнет в стрекоте сверчков...

Душно, судорожно, маятно,
Кто враги, а кто друзья?

И витает любовь в невесомом прозрачном лаке¹.

Подскажи, почему же дыхание тоской перехвачено,
Отчего не ишу на родном языке идиом?
Может быть, это я продавщицей каштанов уставшею
По бульвару неспешно бреду под осенним дождем?..

Но та ли кисть сошла с ума от Крика

На картину Эдварда Мунка «Пара на побережье»

Душевных мук, берущих жизнь измором,
Как будто нет, и мир предельно прост.
Как светел Мунк! О темпера, о море!
Да твой ли холст?

На гладь воды стекает ежевика,
Наполнен воздух запахами хвой...
Но та ли кисть сошла с ума от Крика,
Что здесь напишет призрачный покой?
Ее ли воля в том, что страсть уснула,
Покорен разум в переменах лун?
Но выведет горгоний локон Туллы
Кровавые рубцы на теле дюн.

И в этом есть судьбы избобличенье,
Ищи разгадку, здесь она, близка...
Звучит песок глухой виолончелью,
Качают ели музыку песка.

Где холст живет на уровне ментальном,
Врачует и немислимо саднит,
Хранит молчанье горестная тайна,
Вовек хранит.

¹ Лакé – прозрачная ткань с серебристым блеском.

Глина

Было б желание петь, а мотив найдется.
Слышишь, как ветер гуляет внутри колодца?
Пробует голос в забытых сахарских касбах¹,
Меряясь силой с песками и глиной красной...

Пел маховик, разгоняясь, звучал призывно,
Следом за ним подпевать начинала глина,
И на себя принимала послушно звуки
Круга гончарного и, заодно, округи.

Падало солнце на глину сквозь ветви кедра,
Песню воды она пела и песню ветра,
Эхом атласским тянулась, огнем гудела,
В ловких касаниях пальцев стройнела телом

И превращалась из вязкой безвольной гущи
В невыразимо прекрасный кувшин поющий,
С флейтой берберской созвучный, с пареньем грифа
В небе, звенящем от зноя в горах Магриба.

Терлись о щеки кувшина песка крупницы,
Где-то поблизости жернов молот пшеницу,
Печи калились, одна – под кувшина обжиг,
Ну а другой не терпелось испечь лепешек.

...Жернову – зерна, но я – не пшеничный колос.
Глиняный шар на кругу выводи на конус,
Чтоб покорялась в руках твоих, чтобы пела,
Голос попробовать дай мне, гончар умелый.

Спускаясь к Франгокастелло². Критское

Где медные пчелы медовый нектар собирают
И дикие козы снуют меж камней бесшабашно,

¹ Касба, казба (араб.) – крепость, крепостное сооружение.

² Франгокастелло – крепость и прежде существовавшее (ныне разрушенное) селение на острове Крит.

Растягивай неба овчинку от края до края,
Чтоб по небу было слетать на овчинке не страшно.
...Душонка боялась, душа – трепетала и пела,
И через плечо суеверное трижды плевала,
Когда, не дыша, добирались до Франгокастелло
Петлистой дорогой немислимого перевала.
Восторги и страхи в словах не подвластны цензуре,
Прощайся с душонкой, но под руку асу не тявкай.
...А дальше – песок белокурый и галька, и травка,
И все, что бывает, оттенки волшебной лазури.
Такие вот были, в которых мы храбрыми были,
Тату с этой памятью мне наколоть на плечо бы,
Где б козы по камням копытцами весело били
И в медные трубы дудели медовые пчелы.

Кипрское. Безыдейное

А когда в песках надоеет хамсину,
Налетит с востока на остров-скат,
Чтоб мочалить зонтиков парусину,
Выдуть песок из прибрежных скал,
Проверить одежки, в карманах шарить
По рядам пустующих лежаков,
Где тебе заплыв, там и ветру шара –
Налетел, обчистил и был таков.
Не держу за кражу на сердце камень,
Я была счастливой в твоих морях,
Прилетай ко мне, где в осоках плавень
И река в кувшинках и пескарях.
Мы бы вместе их на уху удили,
И навар делили – тебе и мне...
Не нужна идея в виду идиллий –
Только ветер плещется в голове.

Хурма

Тоскливый день, молчание задень
Полоской света, стрелкою ползущей
По циферблатам мебели и стен,
И ляг на стол хурмой из райской кущи.

.....

Орех, платан, еще один орех,
Твоей руки надежная подмога...
Ты помнишь ту, ведущую наверх
К жилью от моря горную дорогу?

И был подъем неодолимо крут
В палящий зной полуденного часа,
В наш съемный дом, наш временный приют
С открытой к морю солнечной террасой.

Ты помнишь тот, запущенный слегка,
Плодоносящий сад уступом ниже,
Расшатанный забор из тростника,
В густой тени беседку с плоской крышей,

На ней хурмы созревшие плоды –
С упругих веток срок пришел упасть им –
Я на террасе с книгою, а ты,
Азартный спец в материальной части,

Ты собираешь спелую хурму,
Сосной и морем поздний отпуск пахнет,
К твоей футболке белую кайму
Плетет усердно местная арахна.

Как любопытно слушает она
Наш разговор, ловя за словом слово,
И тянет нить к кувшинчику вина,
Из погребка, домашнего, сухого.

Ты помнишь, как с арахной вместе пел?
Хурмой горел закат на наших лицах...
Но если все запомнить не успел,
Пусть это с нами в будущем случится.

Надежда

Но день ото дня – непокорней,
Но из ночи в ночь – стервеной...
Записка с мольбой о покое
Напрасно хранится в стене.

В песчаниках Ерусалима,
Где что ни скиталец, то плач,
Мое неслучайное имя
В расщелинах камня упрячь.

Пусть явится словом утешным
В прибежище тех чудаков,
Кому не покой, а надежда
Первейший из всех маяков.

И пусть себе рядом летает
И тяжесть снимает с плеча
...А тень от мольбы золотая,
...А камни привыкли молчать.

Евгений Бухштаб

Рассказы

Цените книгу – источник... (как я был матерым альпинистом)

История моих занятий альпинизмом невелика. Я не продвинулся далеко, поскольку поздно начал и рано кончил, подвело здоровье. Но все же мне удалось однажды побывать в глазах молодых этаким матерым альпинистом, можно сказать, альпинистским волком.

Как-то со свойственным мне авантюризмом я после смены в лагере Адыл-Су в ущелье Терскол решил в оставшиеся дни отпуска сгулять пешочком в альплагерь Узункол по другую сторону Эльбруса, довольно далеко. Это лагерь Спартака, и там наша сборная команда готовилась к первенству Союза. Надо было перевалить через один из Эльбрусских перевалов в долину реки Кубань. Перевалы там технически несложные, но высокие: +4000 м, к тому же идти к ним надо по леднику с трещинами. Надо знать эти места, я не знал ничего. Но нахальство победило. Я поднялся на станцию канатной дороги «Мир» на 3500 и пошел наверх. На склоне увидел несколько палаток – это был лагерь новичков, которых привели сюда на снежные и ледовые занятия. Там я встретил знакомую по Харькову женщину-инструктора из другого лагеря. Мои намерения она не одобрила, но все же мне повезло – наутро они как раз шли на снежные занятия под одним из нужных мне перевалов, и она согласилась взять меня.

Мне разрешили переночевать в хозяйственной палатке их лагеря. Конечно же, накормили. Яркий момент состоялся, когда новички, мокрые и усталые, вернулись с занятий. Они обнаружили возле своих палаток старого дядьку (мне было года тридцать два – тридцать три, а им всем от восемнадцати до двадцати двух), сидящего на камне с большой книгой в руках. Именно книга их сразила. Все

стараятся, как только можно, облегчить рюкзак, взять минимум вещей, желательно, по возможности, маленьких. А я достал из рюкзака огромную книгу подарочного формата – «История физики». Вспоминаю восторженные глаза молодых девушек, и даже сейчас приятно.

Утром я с отрядом дошел до места, поднялся на перевал, помахал рукой участникам и инструктору, начал спуск в сторону Кубани. Чувствовал себя очень приятно, согретый ласковыми взглядами, хотя впереди меня ждали не только легкие минуты. Идти пришлось много часов, одному, не зная пути. Но молодость преодолевает все.

К теории кривых зеркал

Зеркало при всей своей простоте и обыденности может играть заметную роль в жизни человека. Вроде бы в нем ничего хитрого – отражай то, что находится перед тобой, и все. Это так, но то, что перед зеркалом, иногда сильно зависит от самого зеркала. Если зеркало неидеальное, деформирует то, что отражает, – это кривое зеркало, с которым мы чаще всего сталкиваемся в смешных картинках, где все просто: ржи себе от дурацких поз и форм; а если это не шаржи? Помню, иду как-то вдоль стеклянной витрины, краем глаза случайно замечаю в ней какого-то немолодого человека, похожего на моего старшего друга, а он сейчас далеко отсюда. Всматриваюсь – да ничего подобного – это я, и выгляжу обычно – относительно молодой, привычный. А тот, пожилой, куда девался? Хоть звони ему в другую страну и спрашивай.

А с женщинами совсем сложно. Смотрит она в глаза влюбленного в нее мужчины и видит молодую, красивую, стройную, теплую, сексапильную (еще перечислять?) похожую на нее девушку. И вроде бы умом понимает, что это не совсем точное зеркало. Кривое, как мы договорились. Но как-то оно одновременно и кривое, и правильное.

И часто некоторые пытаются из какого-то принципа поправить его, несколько выпрямить. Расхожая фраза при этом: «Да сними же ты розовые очки!» Очень не сразу, но женщине, может, удастся «выправить» свое зеркало. В

литературе пример такой работы у Лескова: Левша блоху подковал – тонкая работа, но в итоге блоха перестала прыгать, то есть попросту сломал игрушку. Так и с зеркалом – оно перестанет быть кривым на ее беду. Точное, строгое – да, вот только хорошо ли это? Теперь, посмотрев в него, она увидит там женщину соответствующего возраста, с похожей на нее фигурой, не очень добрым выражением лица, не такую уже и теплую, усталую, без огонька в глазах (остановлюсь...) Может быть, ей еще повезет когда-нибудь заглянуть в правильное кривое зеркало. Просто кривых много, а вот найти правильное кривое зеркало – это удача.

Да чего там удача – счастье!

Книга рекордов подождет

У меня жизнь не обходится без приключений. Иногда они такого масштаба, что невольно думаешь о книге рекордов Гиннеса. Но как-то не хочется туда попадать, большинство рекордов не самые приятные, глупые, можно сказать. И каждый вляпывается, как умеет.

Вот я, например, люблю что-нибудь потерять, забыть. Самый любимый объект – кредитные карточки. Хотя это не так страшно и не очень дорого, немного суеты – поменять карту, не забыть возобновить платежи и все. Значительно хуже, и вот это я сильно не люблю, – терять бумажники. Нередко в них как раз в это время есть деньги, бывало, что и чужие. Нет, я не только теряю, неделю назад нашел кошелек. Хотел вернуть хозяину, но не нашел его телефона, пришлось отдать полиции, так не только «спасибо» не услышал, еще и подвергся небольшому допросу.

На этот раз в моем бумажнике опять были деньги, для меня заметные. На заправке я положил его на крышу машины, подумал при этом: «Наверняка забуду», но, подумав, решил, что сейчас не случится. Приехал домой, достал из одного кармана телефон, из другого – а из другого не достал ничего, бумажника нет. А там кроме денег масса карточек, некоторые – даже не знаю, можно ли возобновить. Ладно, выругался, пошел к машине ехать на заправку искать. Вероятность найти невелика. Если он упал сразу, когда я поехал,

то он или на заправке валяется, или у заправщика. А если по дороге на повороте – пиши пропало. От заправки до дома два километра извилистой горной дороги, она специально поцарапана, чтобы не скользило. Справа скала, слева обрыв.

Так что я шел к машине без особой надежды, но что-то делать надо было. Приблизившись, я не поверил своим глазам – на крыше лежал бумажник. Он только не кричал: «Шлимазл, и долго я должен здесь лежать?».



Как я проехал эти два километра так гладко и равномерно, что он не упал? Если учесть, что я водитель импульсивный, не всегда спокойный, то это маловероятно. Если учесть, что еще не вполне восстановилась чувствительность в ногах после операции, это просто невозможно. Поэтому я и подумал о книге рекордов. Не было, правда, наблюдателей, судей. А потом решил – и хорошо! Я об этом знаю, сейчас Вам рассказываю, кто прочтет, узнает. Кое-кому я уже рассказал. И хватит! Узнают те, кому интересно. Кому неинтересно – так и мне до них нет дела. Пусть и дальше судьба удивляет меня и близких мне людей чудесами, как и сейчас, положительного свойства. А мы будем верить в хорошее.

Несколько строчек о счастливом человеке

Один человек сказал: – «Говорят, никто еще не

жаловался при смерти, что провел слишком мало времени на работе. Семья и друзья гораздо важнее? Не всегда. Я обожаю мою работу, она мне приносит больше радости, чем семья и друзья. Да и работать куда легче, чем справляться с семейными проблемами. Я на работе отдыхаю. Или так нельзя?»

Мне очень понравилось высказывание этого человека, и я вспомнил своего руководителя лаборатории, с которым начал работать еще студентом (перешел из другой лаборатории в обмен на деталь вакуумной установки) и с удовольствием продолжал тридцать лет. На одном из лабораторных застолий произнесли известный тост:

– Если хочешь быть счастлив один день – напейся.
Если хочешь быть счастлив одну неделю – заболей.
Если хочешь быть счастлив один месяц – женись.
Если хочешь быть счастлив один год – заведи любовницу.
А если хочешь быть счастлив всю жизнь – будь здоров, дорогой!

На следующем застолье наш профессор сказал:

– В прошлый раз Виталик произнес тост: если хочешь быть счастлив один день...и так далее..., один год – заведи любовницу (почему один год?), а если хочешь быть счастлив всю жизнь, – он остановился, посмотрел на нас, ожидающих стандартного продолжения, но сказал иначе:

– Если хочешь быть счастлив всю жизнь – полюби свою работу, ибо только человек, любящий свою работу, может быть счастлив, и это навсегда.

Он не был занудой, наш профессор. Он действительно очень любил свою работу, научил нас многому. Где-то мы его обогнали, между собой иногда подтрунивали над ним. За тридцать лет случалось разное, я не всегда был образцом дисциплинированности и аккуратности – он все прощал за хорошие результаты. Даже интересно – он очень не любил курение, да еще на работе. Но если, войдя в комнату, видел, что залит гелий, и идут измерения, то табачного дыма не замечал.

Еще он не мог понять – как можно работать, когда на столе такой бардак: вперемешку лежат бумаги, детали установки, какие-то посторонние мелочи. Но тут я однажды одержал полную победу. Мы когда-то видели

«неправильное» поведение измеряемых параметров. Он придумал и написал в статье с другим аспирантом какое-то объяснение, я одновременно написал статью, что эта аномалия не может быть объяснена ни одной из известных теорий. А через несколько лет появилась новая очень сложная квантовая теория, которая хорошо объяснила и эту аномалию. Для анализа я достал свои старые данные, и мы за пять дней написали прекрасную статью. Рецензент особо отметил необычайную аккуратность экспериментаторов, сохранивших и использовавших экспериментальные данные через пятнадцать лет. Шеф скромно молчал. Кстати, я люблю иногда отмечать, что эти старые данные я обсчитывал еще на логарифмической линейке. Но это другой вопрос. Тоже интересный.

Низкотемпературная физика в СССР в те незабвенные годы была на мировом уровне. Руководитель отдела свойств жидкостей (практически пионерские исследования) однажды, вернувшись из редкой тогда поездки за границу, рассказал о виденном там оборудовании. В конце доклада кто-то спросил: «Так где ученые лучше – там или в СССР?» Он уверенно ответил: «Конечно, здесь – установки делаем сами, кустарно, денег на исследования меньше, а результаты такого же уровня.» Я в этом убедился, переехав в Израиль. Стандартный вольтметр, которых здесь у меня в схеме было пять штук, в Харькове я собирал сам из трех разных приборов. А результаты были сравнимые. Боюсь, что это время уже кончилось. Но на пенсии это не так заметно.

Наш Донец

Северский Донец звучит ежедневно в военных сводках. Но у меня в сердце особенно. В лесах севернее Харькова были очень жестокие бои в двух войнах – с немецкими нацистами в 1942 и русскими в 2022 г. В обеих войнах эти места переходили из рук в руки, следы второй мировой войны описаны у меня в рассказе «Окоп». Ровно посередине между двумя войнами довелось быть очень тесно связанным с этими местами.

Тропинка жизни

Мне «повезло» получить тяжелый инфаркт в поезде, когда я ехал в горы кататься на лыжах. Через 6 часов меня сняли и поместили в медсанчасть Горловского шахтоуправления. Без особых ухищрений и медицинских изысков пролежал там месяц, слегка очухался, так что смог вернуться в Харьков. Побывал в разных кардиологических клиниках, санатории, долечивался, восстанавливался. Но лучше всего оказалось на базе отдыха родного Института Низких Температур.

Вот это была реабилитация! Как-то легко мне дали комнатку в деревянном домике на все шесть смен – три месяца. Спасибо, кто-то ходил в профком, ходатайствовал, я этого даже не знал. А располагалась база отдыха в сосновом лесу, на берегу Салтовского водохранилища – речке Северский Донец. Места сказочные, мы привыкли, не очень замечали, а мне после нескольких месяцев в больничных палатах эта его комнатка в домике на берегу озера казалась, а впрочем, и была раем. Только одна маленькая проблема – лагерь состоял из двух частей. Одна – нижний лагерь – была на берегу озера, другая – верхний – вдали от него на расстоянии около двух километров. Столовая была в верхнем лагере. Поначалу я решил не ходить в столовую, взял свой старый альпинистский примус и стал готовить прямо у домика. Благо умел и времени было немерено. А потом вдруг понял, что неправ, что Бог дал в руки (ноги) лекарство, а я им не пользуюсь. И стал ходить в эту столовую три раза в день – на завтрак, обед и ужин. Черт с ним, что еда общепитовская, зато дорога!.. Восклицательный знак здесь не случайно. Это был поистине подарок судьбы.

Поначалу дорога шла по сосновому лесу. Справа, метрах в ста от дороги, просвечивалось между соснами деревенское кладбище – растущие цветы и венки разного цвета. Лес кончался, дальше шла тропинка через луг. Короткая, но зато трава по пояс, дикие цветы и запах! Луг кончался, затем шел лесок из молодых берез, листья дрожали на ветру, совсем живые. Затем молодой сосняк (осенью мы набирали там много любимых рыжиков), и снова старый сосновый лес вплоть до верхнего лагеря. Чтобы на менее чем двух километрах, поместить столько разнообразия и

красоты, надо было постараться. Видно, это был подарок за перенесенные страдания. Два месяца таких ежедневных упражнений возымели результат – я осмелел, стал больше двигаться, ходить на виндсерфе, плавать, ловить рыбу.

Недавно было тридцатилетие того инфаркта. Конечно, надо благодарить врачей, современные лекарства. Но сам он абсолютно уверен в том, что вылечили меня и эти прогулки через лес и луг, почти чувственное упоение красотой вокруг себя. «*Широка страна моя родная...*» – это правда, широка и красива, но эта тропинка длиной два километра – она была и шире, и роднее всего, это было поистине счастье.

Я живу уже 30 лет в Израиле, но каждый год хоть ненадолго приезжаю в Старый Салтов, на Северский Донец. Страшно представить, что там теперь. Придется не болеть. Какое-то время подождать, чтобы природная клиника восстановилась. Надеюсь, что приеду туда скоро, просто отдохнуть.

Окоп

Они сидели в окопчике, наскоро вырытом позавчера, когда их наступление выдохлось и поступил приказ перейти к обороне. Все же выкопали его достаточно глубоким, так что осколки от мин пролетали над головой. Фашисты наступали с севера, из-под Белгорода, а их часть держала оборону в лесу, недалеко от Старого Салтова.

Ванька Пулатов из деревни под Владимиром и Гришка Кулинченко, почти местный – из небольшого городка на Харьковщине. Разные они были – Иван большой, спокойный, а Гришка небольшой, порывистый, юркий. Может, это их и сблизало, вдвоем им было нескучно, как могли, заботились друг о друге, предупреждали об опасности, помогали зарыться, выждать, а потом вместе выскочить по сигналу к атаке. Вдвоем вроде не так страшно, как-то надежнее.

Сегодня Гришке приснился сон, дурной какой-то. Будто он сидит в своем окопчике, совсем молодой, просто

парнишка, почему-то один. А навстречу идут атакующие. В переднем он узнал Ваньку. Тот непрерывно строчит из автомата. Даже слегка задело руку. Он выругался и ответил очередь. Передний споткнулся, упал лицом вперед. Гришка с ужасом проснулся. Слава Б-гу, Ванька лежит рядом, посапывает. Когда он утром рассказал другу свой сон, тот его обругал:

– Дурак, надо же такое выдумать. Я – против тебя?

Глупость какая-то.

– Конечно, глупость, но это же просто сон.

Гриша и представить себе не мог, что каким-то чудом увидел, как через восемьдесят лет его правнук на окраине Старого Салтова только что по-быстрому углубил какой-то старый окоп и залез в него. Отстреливаясь от нападавших с севера из-под Белгорода русских войск, он увидел в ряду противника молодого солдата, чем-то похожего на друга своего прадеда со старой военной фотокарточки. Это был Ваня Пулатов-младший, из деревни под Владимиром.

16.03.2022

Екатерина Смеркис

Послушай сказку – она не нова, бывало разное меж Дверей. В мирах у многих был Саймон Сноу, зато у Тани был Гектор Грэй. И Гектор Грэй, обходя Дорогу, (в тот день так странно сплелись пути) для Тани сделал совсем немного – не дал всего лишь с ума сойти.

«Этерминаты воруют души, – считала искренне Джемма Ли. – Ты, Саймон, помни, учись и слушай: их дом – обитель Гнилой Земли. Ты избегай их прямого взгляда, подвалов, кладбищ и гиблых мест. Спасенья нет от безумья яда, утратишь хватку – он разум съест». А Вацлав Зорич, видать случайно, или нарочно (мол, нос утри) поведал Грешу иную тайну: этерминаты живут внутри у тех, кто веру убил с надеждой, себя не слушал, но слушал тьму, боялся в мире прослыть невеждой, да так, что стал подпевать ему, расстался с детской мечтой о Чуде, навек дорогу забыл в Дворы, решил, что в жизни спокойней будет не помнить правил своей игры.

Ну вот, имеется... маргиналка. В ней поселилась такая тварь. Забыты фавны, бобры, русалки, пираты, феи, Аслан, фонарь. Уже нет сил даже встать с кровати, бардак в квартире, бутылки в ряд: этерминату душою платят, притом не ведают, что творят. Ведь то, что в двадцать еще уместно – дух революций, «да сгинет тьма», пока есть время, пока есть сердце, то в тридцать лет – не нажил ума. Звучит нелепо «ломай систему», «мочи ментов» и «взрывай ГБ». Под тридцать строят – мосты иль стены, за тридцать – просто вредят себе.

«Послушай, Грэй, если хочешь в Орден – себя опорой назначь, стеной. Сумей помочь той не в меру гордой, сумей спасти от себя самой. Когда? В семнадцать? В семнадцать поздно. Уже в двенадцать пора уметь».

А ночь была молодой, беззвездной. Луны над крышей сверкала медь.

Грэй исподлобья смотрел на Таню. Она красивой такой была. Неужто нет в ней любви, мечтаний? Неужто стала сосудом зла? Она так ласкова и глазаста. Она с веснушками на носу. Грэй прошептал ей на ухо: «Здравствуй. Вот я пришел – я тебя спасу. Гляди, лучи разливают краски, в твои двенадцать открыта Дверь. Я понимаю, не веришь в Сказку, и жизнь не сказка, но мне поверь. Во что не веришь? Да в чьи заклятья? Какого Сноу? Но я не он! Вставай, нас лето зовет в объятия, разбудит в рань колокольный звон. Дождь за окном? Все равно не кисни! Мир полон добрых, простых вещей. Смотри же, Таня, вон Ангел Жизни уже сидит на твоём плече. А там, где душ дорогих молитвы – сбегает в ужасе даже ад!»

Грэй победил: для последней битвы из Тани вышел этерминат. Был долгий бой, от рапир металла искрился воздух, звенел как сталь. А что же Таня? А Таня встала. Она однажды сумела встать.

Вообще-то Гектор – простой мальчишка: рогатки, стрелы и тетива. Порою двойки, герои книжки, девчонка Тайка с шестого «А», плывет по речке линкор фанерный, пускал бы дальше – да ветер стих, стреляет метко и дружит верно, спасает взрослых от них самих, во всем находит простые тайны, глядит в поверхности рябких луж... А как же Таня? Нормально Таня – тетрадки, кошка, подруги, муж, Алешка с Сашкой. Любимый Город – колонны, арки, дворцы, мосты, подруга Люба с походкой гордой. С такой не станешь хандрить и стыть. О прошлом, скажет, не стоит плакать. И прежний город – не сеть, не клеть. А Гектор Грэй – да, опора, якорь, а Саймон Сноу – «пора взрослеть». С такой не страшно молчать о главном: всегда двенадцать! У нас есть мы! С войны недавно вернулся Слава. Внезапно. Утром. В разгар зимы. Что нам военные круговерти, когда секундам потерян счет?

Смеется Люба, но Ангел Смерти уже стоит за ее плечом.

От слез бывают глаза сухие. Не льется стих, не

звенит строка. А мир смеется: «Как вы такие не доживают до сорока. Как ни крути, а финал все ближе: минуты, годы и снова весь. А если все же решила выжить – живи и помни: полтинник есть.»

Спасают Вера, Любовь и Слово. Бывало разное меж Дверей. Сейчас у Сани есть Саймон Сноу, а у Алеши есть Гектор Грэй.

Сергей Аврутин

То ли дождь, то ли снег,
то ли ночь, то ли день,
Отраженье в воде
или зыбкая тень?
Это солнечный свет
или отблеск Луны?
Мы живем, под собою не чуя страны...

И не чуя весны,
И не зная войны,
Только тихо и ясно
слова мне слышны,
Что опять повторяю себе на ходу:
Как прекрасен Берлин
в сорок первом году!

Обнимает Казанский
и пушка палит,
Всадник бронзовый строго
за нами следит,
И фигурки наивные
в Летнем саду...
Как прекрасен Берлин
в сорок первом году!

Как прекрасен тот Спас,
что всегда на крови,
И ростральных колонн
озорные огни...

Отчего же не вижу я
радости блеск
В грустном взоре атлантов

под грузом небес?
Отчего же молчат,
ни живы, ни мертвы,
Властелины природы –
гранитные львы,
И застыли зачем,
словно в каменной боли?
Отчего не потешно
Потешное поле?
И зачем повторяю,
как будто в бреду:
Как прекрасен Берлин
в сорок первом году?

Весна 2022 г., Санкт-Петербург

Эйтан Адам

Стихи

Встреча

Л. Магазинеру

Непонятно – сон или не сон.
Вечер, но ни грамма я не выпил.
А москвич над гаванью Кишон
Вспоминает молодость под «битлов».

Сколько нам отмерено недель?
Лучше бы не знал я и не ведал!
Кружка пива на Мерказ Кармель,
На закуску – сигарета «Кемал».

Словно сели на пятнадцать лет,
И встречаемся на пересылке.
Каждый день, как новый километр,
Приближает к роковой развилке.

Чем-то встретит старая Москва:
Гласность, перестройка – или «Память».
Мы же, как прожектор маяка,
Будем продолжать ему сигналить.

Будем ждать подвохов от властей
И ругать то цены, то налоги,
Позабыв тоску очередей,
Позабыв тоску о честном слове!

Хайфа засыпает под дождем.

А в Москве – то снегопад, то слякоть.
Лучше бы я думал о другом,
Ведь нас не научили в детстве плакать.
Хайфа, 5748 г.¹

Моей принцессе

Герде

Вот она – тишина,
Вот она – полутьма,
И готово обрушиться эхо.
Строем встали смычки,
Как гвардейцев штыки
Позабытого давнего века.
 Мы приникнем к словам,
 Хоть неведомо нам
 Где зарыты Завета скрижали.
 Но чернеет строка
 И звенит, как струна,
 Будто ноты души зазвучали.
Черных фраков река
Ждет в своих берегах:
Ни мгновенья, ни меры, ни веса.
И зажата струна,
И трепещет она,
И над декой склонилась принцесса.
 Буква к букве строка
 Нотоносцем легла
 На заре Водолеевой эры.
 И бежать по рядам
 Арамейским словам,
 Прорываясь в небесные сферы.

¹ 1988 г.

Мановенье руки
Над мгновеньем реки,
Как аккорд поднебесного хора.
И сияют зрачки,
И взлетают смычки
Под рукой короля-дирижера.
 Мы стоим, не дыша,
 И трепещет душа,
 И как будто застыла планета.
 И настала пора,
 И раскрыта Тора
 Партитурой небесного Света.

Хайфа, 9 нисана 5766 г.¹

Поцелуй свободы

Только камни да камни,
И ни бусинки влаги.
И последние капли
Досыхают во фляге.
 С рюкзаком не остынуть.
 Пот течет по затылку.
 Я иду по пустыне
 В черных пыльных ботинках.

Где-то – вниз повороты,
Где-то бегают дети,
И купается кто-то
В водопадах Эйн-Геди.
 Я от солнца не жмурюсь,
 Хоть палит неуклонно –
 Со свободой целуюсь
 Возле страшного склона.

¹ 7.4.2006

А века – будто зримы:
Солнце жарит нещадно
Там, где в горле у Рима
Костью встала Массада.

Солнце катится быстро
Поперек небосклона
И тихонько садится
Где-то возле Хеврона.

Иудейская пустыня, зима 5735 г.¹

Последний полет

Молодым идеалистам

*«Тут же хочешь не хочешь, темни не темни,
А на поезде ездить людям веселей...»*

А. Галич. «Песня о ночном полете»

Человечество залезло в норы.
В вираже заносит шар земной.
Но режут под крыльями моторы
Кровью заведенные людской.
Треснуло крыло посередине,
Черный шлейф густеет за хвостом,
Облака закрыли путь наш синий,
И в огне родной аэродром.

Пристегните ремни! Пристегните ремни!
Лишь посадка «на брюхо» возможна теперь.
Но под нами все камни, деревья, да пни.
А что хватит на всех парашютов – не верь!
Пристегните ремни! Пристегните!
До конца затяните ремни!

¹ 1975 г.

Сзади приближается погоня,
Впереди заслоны ПВО.
Вся земля видна, как на ладони:
Ни шоссе, ни поля – ничего.
Всем, о славе бредящим – наука:
Миф о героизме – не для вас!
Задохнуться лишь золою друга
Вам достанется в последний час!

Пристегните ремни! Пристегните ремни!
Сколько пота и крови – чужой и своей.
Мы вперед прорывались во имя мечты,
Овладевши которой ликует злодей!
Пристегните ремни! Пристегните!
До конца затяните ремни!

Избежать паденья невозможно.
Кончилась мечта, конец и нам.
И сгорит жар-птица непреложно,
Словно никому не нужный хлам.
Грохнется об землю, как подкова,
Грудюю металла без лица!..
Но взлетает птица-феникс снова
В ожиданьи нового конца!

Пристегните ремни! Пристегните ремни!
Мы восстали из праха – и снова летим!
Над землею мечта зажигает огни,
Но рожденным в пещерах полет нетерпим...
Пристегните ремни! Пристегните!
До конца затяните ремни!

Яффа, лето 5737 г.¹

¹ 1977 г.

Синай

Под снегом Санта-Катарина
Бела, как шапка бедуина.
Под ней пустыни грозный лик.
Рыжебородого Синая
Клыки коралловы, сверкая,
Пронзают море напрямик.

Воды коралловое ложе
Покрылось зеленью. А кожа
Земли растрескалась по швам.
И Иорданская долина
Под небом синим и пустынным
Сечет планету пополам.

О, где ж еще такие виды!
В подводный сад Семирамиды
Не въехать гордо на коне!
И рай небесный отраженный,
И ад земной, песком сожженный,
Сошлись в береговой волне!

Покрылось небо облаками.
Над аравийскими песками
Поднялся огненный туман.
Грозе-спасению я внемлю.
Но дождь песком падет на землю,
Вновь сух небесный океан.

Как первобытное рубило,
Что в щели на века застыло,
Так здесь навеки лег Синай!
Лег меж двумя материками,
Меж небом и двумя морями,

Вобрав в себя и ад, и рай!

Шарм-эш-Шейх, Тевет 5739 г.¹

Лиде, Грише и всем-всем-всем

Поднебесным дождем, поддревесным ручьем
Подгоняем, ветрами иль прихотью светской
Я успел полюбить, полюбить и почтить
Короля с королевой земли Назаретской.

Одиссея моя, ее злые края
Не дают ни покоя, ни сна на рассвете.
Коль дана тебе власть над словами, припасть
Должен ты к языку, как к капризной невесте,

И писать. Для кого? Для себя одного?
Ведь затрут, не допустят до славы вселенской...
Но чем выть поутру, я пойду ко двору
Короля с королевой земли Назаретской.

И среди странных личин, как и я, дурачин,
Что никак не дают отдохнуть алфавиту,
Я, как свой, посижу, подпою, погляжу,
И продолжу полет, все еще не добытый.

Хайфа, 1 Хешвана 5777 г.²

¹ Январь 1979 г.

² 2.11.2016

Алекс Манфиш

Анти-теодицея

Стихи, собранные в этом цикле, написаны в самые разные годы и отражают очень широкий спектр взглядов и настроений. Но все они – от совершенно «антирелигиозных» до «молитвенных», – объединены идеей полного, категорического отрицания возможности усмотреть некий «положительный» смысл в человеческом страдании и тем или иным образом теологически «оправдать» присутствие в мире зла.

Ты высишься с пером или с жезлом

Ты высишься с пером или с жезлом
Над пугано-покорных душ стадами,
Ты учишь про духовный смысл страданий,
Про то, что зло лишь кажется нам злом.
Ты стреляный в сходазмах воробей,
Ты сшил в один ковер искринки счастья
И мертвенное рубище скорбей.
Наш мир трагичен Божьей властью
По диалектике твоей...
Поэт, прозаик, пастырь, – кто б ты ни был, –
Но если, жезл держа или перо,
Сшиваешь горсткой философских фибул
В гармонию со злом добро,
То вот, смотри: корабль, ко дну влекомый,
И тем, кто в нем, уже не всплыть назад.
Ни неба им, ни грома и ни лома –
Закрытый трюм и водных толщ охват...
Закрытый трюм. И в трюме том – ребенок,
Чей мир так малышей, уютен, звонок
Был час назад – без альф и без омег, –
И чьи уста теперь – в преддверьи спазма,

Уста, что и молитв к Тому, Кто спас бы,
Не ведают... еще – уже – навек...
И чьим глазам вселенской черной жути
Еще – уже – навек – не отразить...
Их – сидя за столом, с чайком, в уюте, –
Не смею я себе вообразить.

От этих глаз – в них, если можешь, глянь, –
Не разорвется ль мирозданья ткань?

Песнь неверия

*Эти стихи написаны под сильным влиянием конкретной
жизненной ситуации и НЕ отражают устойчивых и сложив-
шихся убеждений.*

Я крикнул вновь в пустую даль
Два слова: «Бога нет!»
Я вновь извлек их звук, их сталь
Из ножен тьмы на свет.
Я их, точь-в-точь голыш в пращу,
Вложил в движенье уст:
За боль души я ими мщу,
За страх, за крыльев хруст.
Превращена судьбой-пургой
Душа в моток тряпья;
И если мести нет другой,
Неверье – месть моя.
Так мстит зажаренная дичь
Собравшимся к столу:
В нее хоть вечность вилкой тычь –
Не вознесет хвалу.
Так мстит уклейка рыбакам
И молоту гранит;
Разбитый вдребезги бокал

Так новобрачным мстит.
Так мстит жучок, в горсти зажат,
Руке, что в плен взяла;
Так солнцу мстит за знойный ад
Пустынная земля...

Неверье не прибавит сил,
Оно – самообман.
Бог есть. Он землю сотворил.
Дух жизни Богом дан...
Пусть сотворил. Пускай Он есть!
Сжимаясь в злой комок,
Неверьем я свершаю месть
Тому, кто не помог;
Кто предал – раз, другой, седьмой,
И вновь, дай срок, предаст;
Чьим скальпелем в душе больной
Искромсан каждый пласт;
Кто страждущим – на язвы соль,
А слабого – под нож;
От чьей руки, творящей боль,
Хоть лопни, не уйдешь;
Кто путь людской мостит без шпал –
Чтоб ямы да горбы;
Кто душу, жизнь, мечту распял
Гвоздями лжесудьбы...

Но если это Божий суд,
И нет судьбы другой,
То Гитлер... то бишь мир – капут!
Будь проклят мир такой!
Будь проклят мир, где красота
Растоптана во прах,
Где ложью названа мечта,
А правдой – боль и страх...

И я неверьем в Божью власть
Отмщаю лжесудьбе
За красоту, что не сбылась,
За правду о себе.
Той светлой правды Бог не спас,
Не защитил от зла:
Она кощем в черный час
Похищена была...
Так что же? Бросив дом и скарб,
За ней пуститься в путь,
Чтобы ее из диких царств
Добыть, спасти, вернуть?
Кощею – смерть! Но где ж игла,
Где ларь, где чудо-ствол?..
И нет ни шуки, ни орла,
Ни бабки с волшебством.
И путеводный тот клубок,
За коим шел бы вслед, –
Кто даст его? А может, Бог?
Но Бога, братцы, нет...
Мучитель – есть. Смыкал клыки
Он над любимым стократ;
Но нет спасающей руки
За светом звездных врат.
Лишь надпись пышная: «Здесь Тот,
Кто уврачует боль...»
Ты страждешь, брат? Судьбина бьет?
Так постучись... изволь...
Вот небеса. Взмолись... восплачь...
Прожди, склоняясь в мольбе,
Хоть день, хоть год – чудесный врач
Не отворит тебе...
Но, коль болящему, к вратам
Приникшему, крича,
Не отворяют, – значит, там,

Братишка, нет врача...
Кому же мы возносим гимн?
Не пусто ль в вышине?
Что я? Не больше, чем другим,
Невзгод досталось мне.
Но те, кто в бездне, кто испил
Суму, тюрьму, чуму, –
Взывали и они без сил
К целителю сему.
К Нему всходивший на костер
Взывал... а Он помог?
А Он – и дух, и слух, и взор,
И сердце на замок...
А мы, безропотная чадь,
Поем хвалы в ответ...
По мне, давно бы нам вскричать
Всем миром: «Бога нет!»
И оттолкнуть, и отвратить
Ту длань, что предала,
И хоть неверьем, но отмстить
За беспощадность зла.

Рай земной

Рай земной, – сказал философ, – был бы вещью
очень пресной:
Скучно было б нам без мрази, без злодейства и досад.
Потому придумал некто жизнь устроить интересной:
Лик ее разнообразен, нрав – как зебра, полосат.

Жизнь без зла, – сказал премудрый, – как без уксуса
пельмени;
Не ропщи же, бедолага, и за отнятый покой
Сквозь печаль скажи спасибо злополучной перемене:
Ведь когда одно лишь благо, это скука и застой...

Вот в чем дело, а, ребята?.. Нас, выходит, развлекают!
Словно в парке резвый пони возит весело детей,
Так нас всех – чтоб не скучали, – по земным путям катают
Огнедышащие кони стрессов, страхов и страстей.

Об одном забыл затейник: не спросил он нас, детишек,
Всем ли нравится прогулка... Лично я давным-давно
Обезумевшим в полете рысакам кричу: «поттише!»...
Я им «тпру!»... но зло и гулко бьет им в уши чье-то «но!»

Интерес – я раньше думал, – очень личная вещичка;
Ею с ложечки не кормят – скуку сам изволь рассей;
Но помимо нашей воли к приключениям жизнь стремится,
И клеймо всемирной скорби кем-то выжжено на ней...

Кто-то, нами всласть играя, нас нещадной гонкой мучит,
Жребий мечет – чет иль нечет, тычет носом в стресс и страх
Всех – и паинок наивных, и упрямых почемучек,
И волчишек, и овечек, и зануд, и растерях...

Чьи ж мы жертвы? Чьей же лютой не избыть,
не сбросить хватки?

Кто ж земной мучитель, кто же?.. И из темной глубины
Наших душ разбереженных нам ответ дается краткий:
Это замысел не Божий – это козни сатаны.

Так очнись, благочестивец, восхваливший словом вещим
Совершенство мироздания! Славишь бездну ты, дружок!
Лепеча «за скорбью – промысл», мы на Бога
лишь клеветцем.

Бог не создал бы страдания. Он не там. Палач – не Бог.

Мир захвачен антижизнью. Он у зла
в плену садистском.
Там лишь встретишь Божье дело, где найдешь
щепоть добра:
Только там, где счастья проблеск, – Божья длань...
В тылу фашистском
Ведь не раз, не раз гремело партизанское «ура!»...

Бог, ушедший в партизаны, – что поделать, – не всемогущ;
Но лишь Он, коль сил достанет, защитит тебя порой.
Он не хочет жертв и боли, и в Его лишь длани отчей
Ты не мышь для испытаний, а бесценный сын родной.

Взыскуя рая земного

Мне кажется, я никогда не устану –
Как будто дитя, теребящее рану, –
Жестоким стихом клясть кручину людскую,
Отъятого райского сада взыскуя.

Но скажут: смирись – это жизнь, чья струна
Была бы живущим вовек не слышна,
Не будь она – волей природы самой, –
Натянутым нервом меж светом и тьмой.

Я вижу, как зла надвигается лава,
Как детской обиды вскипает отравы,
Предатель над вверенной тайной глумится;
Над тем, кто обманут, дым смеха клубится.

И скажут: смирись – это жизнь, чья канва
Блюдет многоцветье и этим права.
Смирись и пойми, что сквозь черную гать
Затейливей золото будет сверкать.

Оправдан убийца, купив адвоката,
Свершается блуд за спиною солдата.
Делец сэкономил на детском лекарстве,
Фильм с пытками снят, чтоб садист развлекался.

И скажут: смиришь – это жизнь, в чьих полях
Росток не любой ли шипы опалят?..
И можно ль, чтоб ветер не бил – лишь ласкал;
И скучно без плевел расти колоскам.

Плачь поле по травам, плачь стебель по зернам!..
Невинный зарезан, невыросший взорван;
А щупальца чудищ – в крови, точно в креме,
И в смрадном жиру гонобобельских премий...

И скажут: смиришь – это жизнь, чьих глубин
Не знает ни жертва, ни тот, кто сгубил...
Лишь взмыв над бездонностью, прянешь до звезд.
В пучину не глянувших – высь не зовет.

Да, молви мне это и стан препояшь свой,
Ты, мудрый, ты, храбрый, ты, крест свой подъявший...
И верно: не мыслится честность – без подлых,
Без жаждущих – щедрость, без страждущих – подвиг.

Но мне сквозь подзол, поглотивший тьмы тем,
Стон слышится тех, кто, не славясь ничем,
Без смысла и пыла, не храбр и не свят,
Судьбой окаянной растоптан и смят.

Не знали они ни порыва служений,
Ни пыла дерзаний, ни жажды свершений.
Я слышу сквозь толщу пластов в том подзоле –
Дрожь тела, стук сердца, крик муки, всхлип боли.

Им воин на выручку мчал-поспешал,
Их гнойные ноги святой обмывал,
Им царь в покаяньи свой жемчуг дарил,
Поэт об их муках песнь скорби творил.

Не выпал им путь средь космических далей –
Они на алтарь всежжения пали.
Им выпало – почву, обуглясь, удобрить,
На коей взойдут чьи-то святость и доблесть...

Замрите ж виновно, склонясь у их ног,
И лира, и свиток, и крест, и клинок!
Ведь лишь на болоте страдальчества их
Врастают цветы созиданий земных.

Явитесь же, встав из болотища боли,
Не знавшие смысла постигнувшей доли,
Не знавшие в черный тот час всежженья –
Чьей славы во имя, чьих вин в искупленье!

Чтоб биться о тишь неискусным речам,
Чтоб голос тех жертв, надрываясь, кричал –
О Боге и мире, о сжегшей дотла
Солому их душ неизбежности зла!..

Четверо над склоном

И успела кровь из капищ вытечь.
И как знать, в чьей был он стороне -
Тихий склон; под ним же – много тысяч:
Мир им всем... а сколько – счесть не мне.
Не был холм тот россыпями убран.
Там, в тиши, лоя из бездны весть,
Встретились однажды храбрый, мудрый,
И святой, и тот, в чьем сердце песнь.

И, казалось, слух взмутился стоном –
Ветра ль, тех ли, чей под ними прах...
И стояли четверо над склоном,
Боль тая и в душах, и в устах.
И казалось им – чьего-то зова
Надо ждать... и некуда идти.
И казалось им, что чье-то слово
Бьется рядом – птенчиком в горсти.
Что вот-вот среди гряд печальнохолмных,
На смиренном лоне этих нив,
Отомкнутся вдруг уста безмолвных,
Тишину речами вспламенив.
И – сбилось. Из некоей ли дали,
Из-под пойм ли травно-дождевых,
Те, о ком их скорбь, пред ними встали –
Живы ль, нет ли, – в образе живых.
В сонме ликов боль металась-билась,
И укор пылающий пронзал.
И живое что-то заструилось
От души к душе, от глаз к глазам...

И сказал воитель: «В вихре схваток
Вырос я; опасней нет стези.
Полетишь царевну-славу сватать,
Да иной невесты тень вблизи.
Но, сжимая в битвах меч свой верный,
Знал я твердо: путь свой выбрал сам,
И не мне – коль буду в срок повергнут, –
Вопиять к жестоким небесам.
А сейчас... взрыдать ли, ниц ли рухнуть,
Понимая – легок мой удел!
Здесь, под нами – слабость, робость, хрупкость
Тех, кто бить и биться не умел!
Им за жизнь сражаться было нечем;
Я в опасность мчал, а их – влекли.

Пред судьбой тех жертв – крутые плечи
Не склоню ли ныне до земли?..»
И сказал мудрец: «Верша свой поиск
Истин, тайн, законов и причин,
Ведал я: не ту слагаю повесть,
Что прожить сулила б без кручин.
Но, прильнув к сокровищу писаний
Иль камней, таящих древний след,
Знал: я сам вступил на путь познаний,
И не мне роптать, коль дам ответ.
И ответ тот, сколь бы тяжек ни был
Грохот слов – отречься иль не жить, –
Не вершина мук! На эту гибель
Все ж должны за что-то осудить!
А лежащим здесь – колодезь боли
Не открыл, за что испьют ее!..
Пред загадкой страшной этой доли
Не склоню ль все знание свое?»
И сказал пророк: «В святые дали
Призывая молнийной строкой,
Сознавал я: в жизнь мою едва ли
Постучатся сладость и покой;
Но мужался, зная: путь тот грозный
Сам избрал я – Имя освящать;
Если ж так – облекши сердце бронзой,
Укрепи отвагой мысль и стать.
И, коль даже руки на кресте ли,
Из огня ль судьба мне в срок воздеть, –
Муки той фиал не беспределен:
Легче мне, чем тем, чьи кости здесь...
Ибо я – взойду, а их – швырнули
На алтарь; и всех молитв святей
Душ тех плач, пред коим не склоню ли
Дар, и труд, и плод души своей?..»
И сказал поэт: «Лелея лиру,

Не искал тернистых я дорог,
Не примкнул ни к воинству, ни к клиру,
С тайн земли покровы не совлек.
И страшилась плоть рубцов и рубищ,
И, душой от скорби прочь стремясь,
К небу я взывал – да не погубишь, –
И к мечте взывал я, чтоб сбылась.
И порой томила троп неторность,
Но спасала мысль: пусть больно мне, –
Бьет та боль, чтоб песен звук исторгнуть,
Бьет щадя – чтоб целой быть струне.
Здесь же те лежат, пред кем разверзся
Рок, чей темен смысл, чья мощь дика.
Ужас их закланья – жги мне сердце;
Преклонись мой стан, застынь рука!..»

И стояли четверо над склоном,
Замолчав и медля уходить,
И не знали – подвигом иль словом
Тех, кто пал, из праха возродить.
И взносился, тягостен и мертвен,
Гулкий ветер – пастырь льдистых стуж, –
И свистел: святой – ты должен жертве,
Воин – ты должник дрожащих душ!
И навек впечатывалась властно
Мысль и весть все та же в их сердца:
Кто вещал – в долгу перед безгласным,
Кто летал – пред немощью птенца...
И, струиться ль рекам, льдам ли таять,
Отомкнуться ль Млечному Пути, –
Лишь пока жива об этом память,
Можно мир очистить и спасти.

Не горше, мол, мне пришлось, чем прочим...

так кой же хрен

Я хнычу?.. Но я ж – не ты! Вы хватовские ребята!

Вам, сильным, – духовный бой, нам, слабым, –

без боя плен...

Вы слышали глас толпы, что ловит, топчась, гостинцы?

Кто пряника не поймал, – раздатчиков проклянет;

Везунчиков – бей, топи... вот так, дорогие принцы;

Я был в той толпе... но я – не хватовский паренек...

Везунчиком не был я, и мимо промчался пряник.

К клейму мой развернут лоб, а шея моя – к ярму...

Хребтиною бытия обида, что жжет и ранит,

Мне стала... ответьте мне, коль сможете, – почему?

Как, спиртом и анашой накачаны, зубы стиснув,

В бесплодную мерзлоту вгрызаются фраера,

Искал я – но не нашел в проклятой терпежке смысла.

Он есть! Этот смысл – в игре; но то не моя игра.

Не светит мне горний свет, не взял я духовных высей –

Я слаб, я разбит и смят, болтанка в мой мозг впилась.

Игра не моя – о нет! В меня самого, как в бисер,

Мучитель вся земли поигрывает, смеясь...

Эй, там, меж стозубых волн! Попутчики в море жизни!

Идущий ко дну... и ты, еще не уставший плыть;

И севший верхом на ствол... и ты, что в челне, скажи мне –

Хотите ль ту силу зла разжалобить... умолить?..

Но нет!.. Расшибайте лбы, покорствуйте иль базарьте, –

Тому, кто измыслил зло, кто смачно играет в нас,

До лампочки все мольбы – неистово он азартен...

Еще бы: ведь тут не карт, а душ человеческих пляс...

Молчи иль надрывно ной – кто слаб, тот с пеленок предан.

Предавшему – смысл игры, живущему – бес в ребро.

И, может быть, лишь землей укрывшийся, словно пледом,

Увидит прекрасный сон про мир, где царит добро.

О том, кто не знал радости

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей.

И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.

И сказал мне; сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.

И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие! Слушайте слово Господне!

Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.

И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь.»

Книга пророка Иезекииля, 37, 1-6

Я читал о стране нездешней,
О чертоге у Божьих ног, -
Там утешится неутешный,
Там гонимого ждет веноч.
Там навек отдохнет усталый,
В срок достигнувший райских врат,
И блаженства испьет бокалы
В искупленье земных утрат.
Там, в стране благодатной этой,
Где ковер из травы пухов,
Будут мудрым даны ответы,
Сбросит слабый ярмо грехов.
И в обителях сих обеих –
Здесь, сколь сердца продлится бой,
И ступив на тот вечный берег, -
Я останусь самим собой.
Не исчезну! Не мне ознобность
Черных хлябей небытия,
Ибо память со мной и образ
Тех путей, что отмерил я:

И победы, и куст с шипами
Из обид, и любовь, и глум...
«Есмь» – из ткани, чье имя память,
Сшито: «memino ergo sum».
Но от ужаса и печали
Я склоняюсь, представив тех,
Кто, истерзан кручин бичами,
Не узнал на земле утех.
Чьи когтисты кусты обиды,
Чьих усилий бесплоден цвет,
Чья судьба – пустоглазый идол:
Зев разверст, и пощады нет...
Кто от толпищ тысячеустых
Получал – не кривись, хлебни!... –
Лишь издевки прокисший уксус –
Не живительный сок любви.
Что такой пред святым престолом
Скажет? Вытащит он клубок,
До изнаночки весь исколот:
Вот – душа! Полюбуйся, Бог.
Ну, а вот, из юдоли брэнной
В звездно-вечны сии края
Скачет память – не конь ли бледный
Под уздою небытия?..
Скажешь – быть мне, коль ей не таять?
Молвишь «meminit ergo est»?
Но Горгоны страшней та память:
Нет в ней клада – один лишь крест...
Тем, кто рядом, Ты в мире зыбком
Щедро ль, нет ли, но что-то дал:
Тот был слаб – но любовью взыскан;
Тот невзрачен – но побеждал...
Чтоб черпали, как пламя – свечи,
Силу жить они в тех благах:
Тот был раб? Но умом отмечен;

Трус? Но золотом он был богат...
Я ж влачился, ничем не тепля
Хрупкий факел своей души.
Я принес Тебе горстку пепла;
Что с ней делать, Господь, – реши!
Я принес унижений иго
И растоптанной чести тлен.
Память? Бьет она каждым мигом,
Каждый срез ее – казнь иль плен...
Понесу ль средь долин сих вечных
Груз обид, что черным-черны?
Я пред жизнью своей ответчик,
Изничтоженной без вины...
Иль велишь, точно ржавой гильзе,
Мне лежать на траве-пуху,
Позабыв о той краткой жизни,
Что истоптана в пыль-труху?
Позабывать? Как мокрицу дустом,
Память скорби своей убить?
Это значит – в пустышку сдуться,
Обнулить свое «я»... не быть...
Значит, посулов тех помпезность,
К вечной жизни призыв – не мне:
Мой удел – навсегда исчезнуть,
Словно рябь на крутой волне...
Что ж... скукожусь дождейкой в вихре,
Лопну – мыльный точь-в-точь баллон;
И ничей не раздастся выкрик:
«Рай не в рай мне, коль сгинет он!»
Стоны любящих, близких муки
Не качнут Твой престол, Господь:
Нет мне в чьей-то любви поруки,
Я подкидыш: ни мам, ни тетя...
Но, душе ни одной не дорог,
Дай спрошу Тебя, Отче наш:

Ну, а Сам Ты – пропасть как морок
Мне – глянь, вот я, – ужели дашь?
Дашь ли? Вот мой вопрос, Создатель!
Пусть небесный – Ты все ж отец!
Я – тряпичный эрзац-солдатик, –
Твой, Господь, на отцовство тест...
Дашь ли сгнуть? Одной игрушки
Недостанет? Ну что ж – и сыр
Тоже в дырочках... Без утруски
Разве может крутиться мир?..
Если ж, Господи, не впусую
Ты Отцом меж людей слывешь, -
Тихо склонишь главу святую,
Сирый клубень души возьмешь,
И признаешься – да и что уж,
Отстрелявшись, теперь таить, –
Что Твоя не всесильна помощь,
Что и мимо случилось бить.
Что не все Ты на свете можешь,
И, сражаясь с пучиной зла,
Ты иных упускаешь, Боже,
В ту пучину из-под крыла...
Что ж разбитому вдрызг ответишь,
Отче... Бог, уронивший в жуть?
Лоскутком от вселенских вретниц
Я пред троном Твоим кружусь.
Вот я – глянь! Как же быть со мною?
Сокрушенно ль списать? Иль все ж
Вброд и вплавь за душой одною
В бездну спустишься – и спасешь?
И, достав, словно перстень, чудо
Из космической кладовой,
Во дворец превратишь лачугу,
Кость иссохшую – в стан живой?
И, крутнув фильмопленку жизни,

Все утраты вернешь мои?
Отче – будет ли так, скажи мне?..
Вот я – жаждущий: напои!
Лоскутку от вселенских вретещ,
В бездну выпавшему птенцу –
Что Ты, Господи, мне ответишь?
Вот я – глянь. Я пришел к Отцу.

Моление несдавшегося

Утомлен мой голос и надорван,
Ни тропинки нет, ни колеи.
Я прошу, Великий, Мудрый, Добрый -
Выполни желания мои!
Добрый, сильный, мудрый – где Ты, Боже?
Разорви капкан, распутай сеть!
Не по мне, поверь, тугие вожжи,
Острый шип и огненная плеть.
Я не агнец, росший для закланья, –
Дикий конь из стаи кочевой;
Так зачем же ныне бьюсь в капкане,
Злой и прочной стиснут бечевою?
В чем тут прок? Насытиться ли мною
Кто-то алчет в сумраке жилья?
Но, полынью вскормлена степною,
Яд – не сладость, – плоть таит моя.
И, упав в траву, разбив поклажу,
Сколь бы кнут свирепый ни хлестал,
Не смогу нести я груз, что ляжет
На не знавший ноши хрупкий стан.
И летящий в бой, будь трижды князем, –
Мне не верь, степному скакуну!
Лишь ослабнут вожжи – сброшу наземь
И в ковыль бескрайний окуну...
Повинуясь цепкому капкану,

Я затихну, голову склоня,
Но ручным и верным все ж не стану,
А предам измучивших меня.
Больно мне... но боль моя не сможет
Благом стать для тех, в чьей бьюсь сети...
Так к чему мой плен?... Ты слышишь, Боже?
Я не жертва... дай же мне уйти!
Прикажи сетям тугим разжаться,
Дай, омывшись в дождевом вине,
Лишь за тех, кто люб, опять сражаться,
Верным быть – лишь тем, кто верен мне...
Дай уйти, дай вырваться! Внемли мне!
Дай траву степную расплескать
И испить вино ночного ливня
За свою не жертвенную стать!
И за то, чтоб, если рухну даже
В зелену-безмолвну гладь степей,
Не сумел ни конь, ни всадник вражий
Жировать над скорбию моей.

Сонет

Лишь озорных у губ дай, Боже, складок,
Лишь светлых, лишь желанных дай забот
Да не грядут ни скорбь, ни сил упадок,
Ни в жар пустынь бросающий Исход
И каждый день земной пусть будет сладок,
Как будто не надкушен страшный плод,
Чтоб на лице – не мерзкий подлый пот,
А капельки росы – венец из радуг.
Мечтаю и взыскую – сколь живу,
Быть тем, кто предназначен к торжеству,
Не болен, не обижен и не предан.
Да будут зла бессильны острия.

И смысл, и соль, и сладость бытия –
Блаженство. Райский сад. Эдем. Ган Эден¹.

¹ Ган Эден (ивр.) – Эдем, райский сад – буквально «сад неги».

Марк Шехтман

Бройтманиана

или

Под звон бокалов и сосисок

Семейная хроника в четырех застольях

Застолье первое. Пир во время алии

Действующие лица

Витя Бройтман – полноватый блондин 45-ти лет, в прошлом преподаватель пединститута, а ныне израильский люмпен-пролетарий.

Люся Бройтман – его жена, очень милая, но выглядящая усталой женщиной.

Иосиф Хаймов – вальяжный мужчина 60-ти с лишним лет, в прошлом доктор филологии и парторг по призванию.

Бубенцова Мирра Валентиновна – весьма немолодая дама, в прошлом доцент кафедры эстетики и коммунистического воспитания. Стилль одежды, речи и поведения обычно отличается изысканностью и некоторым снобизмом.

Дух Васи Половикова – нечто бестелесное, облачное, лишь отдаленно напоминающее доброго и милого Васю, сокурсника Вити и Люси. Был вынужден прибыть в Израиль на юбилей друга в таком виде, ибо материальное положение учителя в белорусской глубинке не дает другой возможности.

Марк, он же **Шехтман**, он же **Борисыч** – приятель Вити и Люси, в прошлом филолог и поэт, а ныне ночной сто-рож в Тель-Авиве.

Максим – дитя любви Вити и Люси, появляется эпизодически.

Тамара – родная сестра Люси и тоже из бывших; в нашем сюжете возникает, телефонирова из Санкт-Петербурга, где ныне проживает.

Время действия: вторая половина апреля 1999-го года.

Место действия: съемная квартира семьи Бройтман в Кирьят-Ата, что недалеко от Хайфы.

На сцене:

Салон обыкновенной съемной квартиры репатриантов. Разномастная мебель, шаткие стулья, голые стены и окна без штор и занавесок. В центре длинный, порядком разоренный стол, уставленный пустыми бутылками и тарелками с остатками еды. Застолье в честь 45-летия Вити уже завершилось. Почти все гости ушли. На председательском месте спит и даже похрапывает Хаимов. За противоположным концом стола, уютно устроившись щекой в блюде с винегретом, отдыхает Бубенцова. Посредине колышется и посверкивает над рюмкою с водкой перламутровое облако – дух Половикова. Из открытого окна в комнату доносятся не приносящие удовольствия звуки и запахи ночного захолустного горodka.

Витя и Люся ссорятся...

Люся (с озлоблением)

Перепились! Лежат, как стадо!

Витя

Не трожь родной пединститут!

Люся

Таким что подешевле надо,

Так нет же – только «Абсолют»!

Витя (скорбно)

Как можешь ты?.. На славной дате?..

Люся (яростно)

Два дня готовки и возни,

Чтоб эти... мордою в салате!

Бубенцова (с пугающей неожиданностью)

Нет, в винегрете, черт возьми! *(снова засыпает)*

Витя (*тихо, но гордо*)

Окстись, Людмила! В кой-то веки
В исход торжественного дня
Пусть бывшие, а все ж коллеги
Пришли отпраздновать... меня!
А потому предупреждаю:
Своих ты штучек этих брось!
Я нынче юбилей справляю.
С тобой. Но ведь могу и врозь...

Люся

Неужто спутался с другою?
Иди! А я останусь тут.
И этих прихвати с собою...

Витя

Не трожь родной пединститут!

Хаимов

(еще не вполне протрезвев, но уже председательствуя)

Продолжим наше заседание!
Сегодня на повестке дня:
Всем срочно сделать обрезанье!
Контроль возложен на меня.
Проверю лично, чтобы каждый...
Не как-нибудь! Не на бегу!
Вот я уже обрезан дважды –
И ничего! Пока могу...
А делать надо так, глядите:
Снимаем... держим на весу...

(иллюстрирует слова некой пантомимой)

Дух Половикова (*в панике*)

Налей ему скорее, Витя!
Я крови не перенесу!

Витя (*наливая Хаимову*)

Иосиф, ну зачем вам это?
Тем более, что вы уже...

Возьмите водки, винегрета...

Бубенцова (*обнаруживая странное знание предмета*)

Опять Хаимов неглиже!

Хаимов (*застегиваясь и поднимая рюмку*)

За женщин! Люся, будь здорова!

Хозяйки лучше в мире нет!

А вы молчите, Бубенцова,

Здесь вам не тут, а винегрет!

Бубенцова

Нахал!..

Хаимов

Ах, вам еще неймаеся?

Пусть нас в парткоме разберут!

Люся (*о ком-то из них двоих*)

Кто ж знал, что э т о перепьется?..

Витя

Не трожь родной пединститут!

Дух Половикова (*с чувством*)

Друзья мои! Душою здесь я,

Меж вами, – как в былые дни...

Далече милое Полесье,

Но от свиной и от родни,

От школьников и от уроков

Я силой дружбы нашей зван,

И дружбе этой нету сроков!..

Люся

Ты, Васька, хоть и дух, а пьян.

Закусывай, полегче будет.

Вот плов, салаты, винегрет...

Бубенцова (*злобно*)

Все будят, будят, будят, будят!..

Дух Половикова (*грустно*)

Я пить могу, а кушать – нет...

Мы, духи, так эфирно-чисты!

Хаимов (*агрессивно*)

Что значит – кушать не могу!?

Дадим, как материалисты,

Отпор идейному врагу!

Я выступаю с заявлением,

Что без питания никак!

Естественные отправления...

Бубенцова (*из блюда*)

Не тычьте вилкою, дурак!

Дух Половикова (*робко*)

Ах, Боже мой! Ах, делать что же?

Что ни глотну, все весит пуд...

Хаимов

Давно бы так! А то – не может!..

Витя (*обидевшись за друга*)

Мужик, не трожь пединститут!

Люся

И, правда, Вась, не мучься кашей...

А Бройтман мой уже хмелен!

Конец приходит дружбе нашей:

Звонили Шехтману, а он!..

А раньше и без приглашенья

С бабьем не вылезал от нас!

Зато теперь на день рожденья

Не соизволил...

За окном раздается лязг танковых гусениц, рычание мотора, а через некоторое время – торопливый звонок в дверь. Максим бежит открывать. Входит Марк, увешанный базуккой, автоматом, пистолетом и прочим оружием.

Витя

...Вот те раз!

Ты, Люська, злыдня, право слово!

Максим, не трогай пулемет!

Я ж говорил: запахнет пловом –

Марк об-бяз-зательно придет!

Неожиданно лексика его в обращении к Марку скатывается к блатной фене. Чувствуется, что их связывает какое-то темное прошлое...

Борисыч, скидавай портянки,

Клади стволы и прочий лом.

На зоне, что ли? Вот полбанки,

И погуторим за столом!

Вот «Абсолют» – открой сопелку,

Понюхай – чистый «Солнцедар»!¹

Вдруг в том же лексическом ключе Витя обращается к опешившей Люсе.

Подруга, ша! Смени тарелку,

А то ответишь за базар...

И когда опешившая Люся молча ставит перед Марком чистую тарелку, продолжает разговор с ним.

Что припозднился?

Марк

В хвост и в дышло!

Израиль этот, вашу мать!..

Под Хайфой вся солярка вышла,

¹ «Солнцедар» – сорт дешевого популярного советского портвейна.

Пришлось немножко пострелять –
Совсем чуть-чуть, чтоб сбавить цену...
Или как правильно? – цену?
А плов так просто обалденный!
Витек, давай сюда жену!
Людмила, как жива-здоровая?
Иосиф! Сколько зим и лет!
А кто там в блюде? Бубенцова?!

Бубенцова (*злобно*)

Не тычьте вилкой в винегрет!

Витя

Как жизнь, работа, руки-ноги?
Что бабы? Всю проели плешь?

Люся (*проникаясь хозяйской заботой о госте*)

Ну дай поесть ему с дороги!

Марк (*грустно*)

Ах, Люсенька, всего не съешь!
Старею... Жизнь уж за плечами.
Жду писем. Охраняю банк.
О прошлом думаю ночами.
Нашел на свалке старый танк.
– Бесплатно, – говорят, – берите,
Лежит здесь с той еще войны...
Хотел стишок придумать Вите –
Забыл, как пишут букву «ны»!
А завтра что еще забуду?
А если «ха», прости господь?
Как жить тогда на свете буду?..

Витя

Марк, полно вздор тебе молоть!
Все, кроме денег, пережитки!
Еще здоровье, бодрость, пыл...

От книг да букв одни убытки!

Хаимов (*гордо*)

Я тоже буквы позабыл!
Здесь, в этом окруженье вражьем,
Нельзя иначе, так скажу,
И ничего – женился даже,
Воспоминания пишу...

Марк (*ошеломленно*)

Без букв? Ну, ты, Иосиф, знаешь...
Я без одной лишь буквы «ны»!..

Хаимов (*гордо*)

Они нужны, когда читаешь,
А если пишешь – не нужны!

Марк (*с дотошностью правдоискателя*)

Но слово, текст, проверка, чистка?
Не понимаю что-то я...

Витя (*осеняясь догадкой*)

Жена, поди, – стенографистка?

Хаимов (*разом сливая всю информацию*)

И врач, и повар, и швея!

Витя (*язвительно*)

И муж...

Хаимов (*величественно*)

Виктор, я вас прощаю!

Витя

Мерси!..

(*К Марку*) Тебе, Марк, не совру:
Рояль вот видишь? – не играю,
Есть книги – в руки не беру,

Зато с утра хожу на паперть:
В итоге – дом, тепло, уют
И накрахмаленная скатерть...

Хаимов *(веско, со знанием дела)*

Ночами тоже подают!

Витя *(в озарении)*

Или берут! Братва! Идея!
Что ж я-то раньше?! Ах, лопух!
Да что бы мы, три иудея...

Дух Половикова *(смиренно)*

И бедный белорусский дух...

Витя

...Не сняли б за ночь пару тысяч!
И как я прежде не допер?
Бери базуку, Марк Борисыч...

Дух Половикова *(с воодушевлением)*

И в танке заводи мотор!

Витя, Марк и Хаимов, гремя оружием, уходят. За ними торжественно плывет Дух Половикова, похожий на красивую газовую атаку.

Люся *(в пространстве)*

Не юбилей, а наважденье!
Все криво, все наоборот...

С улицы в открытое окно доносятся голоса и лязг затворов.

Хаимов *(жалобно)*

Подайте бедным в день рожденья...

Витя *(агрессивно)*

Все, все вытаскивай, урод!

Марк (деловито)

Часы, валюту... В счет подарка!

Дух Половикова (нежно)

А то пиф-паф – и прямо в рай!

В коридоре неожиданно и оглушительно звонит телефон. Люся бежит и хватает трубку.

Люся

...Израиль! Слушаю! Тамарка?

Да! Все отлично! Прилетай...

Медленно опускается на табурет и тихо плачет.

Занавес

Застолье второе. Все течет...

Действующие лица

Витя Бройтман – весьма пополневший блондин, все тот же, что; в прошлом.

Люся Бройтман – по-прежнему его жена.

Ира – их соседка по этажу, красивая, иногда одинокая женщина, любительница анекдотов.

Марк – приятель Вити и Люси, временами переносимый в тяжелой форме рецидивы молодости и приступы поэтического вдохновения.

Бубенцова Мирра Валентиновна – этически зрелая дама, отмечающая свой 70-летний юбилей.

Помимо них в сюжете появляются

старички и старушки – гости юбилярши.

а также

Максим – сын Вити и Люси.

В специфически-телефонной форме явится читателям

Тамара – старшая сестра Люси, ныне живущая в Санкт-Петербурге.

Время действия: конец января 2000-го года.

Место действия: съемная квартира семьи Бройтман в Кирьят-Ата, что в предместье Хайфы.

На сцене:

Вышеуказанная квартира, представлена как бы в разрезе: салон, спальня, детская комната, коридор, кухня. В спальном отсеке мы видим нарядно одетую Люсю и нарядно полуодетого Витю, который безуспешно примеряет не сходящиеся на нем брюки. В салоне уже готовый к выходу Марк; он не то спит в кресле, не то ушел в себя, но на окружающую среду, тем не менее, реагирует. Люся нервничает, поскольку время позднее, а подходящие по габаритам брюки еще не найдены. Из-за окна доносится шум дождя; возможны даже гром и молния...

Люся *(теряя всякое брючное терпение)*

Не сходятся? Попробуй эти...

И эти нет? Не может быть!

Витя *(философски)*

Без брюк, я думаю, на свете

Гораздо лучше было б жить!

Люся

Как на дрожжах, толстеешь снова!

Все потому, что даже дня

Прожить не можешь без мучного...

Витя *(любуйась на себя в зеркале)*

Живот – он тоже часть меня!

Какая мощь! Какая сила!..

Люся *(отчаиваясь)*

И в чем он на банкет пойдет?

Витя

...И коль меня ты полюбила,

Должна любить и мой живот!

Люся

Любовь величиной в перину!

Что делать? Марк, хоть ты скажи...

Марк *(вещая из кресла)*

Отрежь от пледа половину

И вместо юбки завяжи.

Шотландцем будет...

Витя

Не согласен!

Я не шотландец! Я еврей!

И род мой древен и прекрасен!

Сошлись!..

Люся

Застегивай скорей!

И не дыши – порвешь и эти!

Марк

А, может, наглухо зашить?..

Витя *(развивая любимую тему)*

Без брюк, конечно же, на свете

Намного лучше было б жить...

Ну, вот! А ты все не готова!

Так всякий раз я жду и жду...

Теперь мы опоздаем снова!

Люся

А не крашусь – не пойду!

Витя

И так видны и нос, и губы...

Кому потребно – разберут.

Люся

Ах, Бройтман, до чего ж ты грубый!

Витя

Не трожь родной пединститут!

Внезапно, одетая по-домашнему, в шлепанцах и в переднике, вбегает Ира.

Ира

Привет, соседи! С пылу – с жару,

С работы... Дел невпроворот!

Людмила, дай картошек пару...

Витюша, слушай анекдот:

Жена наутро мужа будит,

А тот – хоть краном поднимай!

Она:

– Вставай, Вань, поздно будет!..

Нет, Ванечка! Ты весь вставай!

Еще вот:

Муж стучится в двери...

Жена:

– И видеть не хочу!

– Открой, Мань! Трезвый я!

– Не верю!

– Открой, Мань, слышишь – чем стучу...

Как рассказали – хохотала,

Аж не работала полдня

И так устала, так устала...

Появляется Марк, интерес которого к Ире растет на глазах.

Марк (капризно)

Ну познакомьте же меня!

Люся

Ириша, это Марк, приятель...

Приехал, с Витькой выпил тут,

Когда-то был преподаватель...

Витя

Не трожь родной пединститут!

Люся

Не трогаю. Кому он нужен?

Лишь ты один по нем с ума...

Марк *(в интонациях Паниковского)*

Ваш анекдот – ну, этот, с мужем –

Прелестен – ах! – как вы сама!

Фемина! Истинно фемина!

Припасть к ногам! Нет, это сон...

Ира *(с любопытством)*

Я до сих пор была Ирина...

Люся

Готово. Он опять влюблен.

Марк *(в интонациях Есенина)*

Вновь дни вернулись золотые,

И в сердце плачут соловьи!

Витя

Такое, кажется, впервые...

Люся

Я ж говорила – не пой!

Так нет! Ну не было печали!

И Ирка тут, как на беду.

А мы уж точно опоздали.

Марк

Я без фемины не пойду!

Ира *(привыкая к новому имени)*

Все это как-то слишком скоро...

Марк *(в интонациях Гумилева)*

Прелестница, чего нам ждать?
С картошкой, в костюме Флоры!
А я готов сопровождать...

Ира

Куда?

Марк

Куда лишь захотите!
Нас грезы чудные зовут
В Севилью, в Пармскую обитель,
На Марс, в Ла Скала, в Голливуд –
Туда, где зори так пунцовы,
Где в зыбком сумраке аллея...

Ира

Конкретнее!

Люся

Мы к Бубенцовой
Уходим в клуб на юбилей.
Ей нынче семьдесят.

Ира

Всего лишь?!

Люся

Зато в двухтысячном году!
Потом картошку приготовишь.

Ира

Уговорили! Я иду.

Витя

Мы ждем. И пять минут на сборы!
И так уже девятый час...

Марк (*странно подвывая*)

Вернитесь к нам нагою Флорой!
Мы все прекрасны без прикрас!

Ира убегает. Марк стягивает пиджак, начинает развязывать галстук. Люся пытается его остановить.

Люся

Марк, холодно! И вечер поздний!
И как ты – голый! – за столом?

Марк (*с неожиданной практичностью*)

Ты думаешь, успею после?
Ну, хорошо. Сниму потом...

Вдруг в квартиру вторгается шумная компания разнокалиберных старичков и старушек во главе с нарядной и возбужденной Миррой Валентиновной Бубенцовой. Все вновь прибывшие с мисками, казанами, кастрюлями и бутылками.

Бубенцова

Друзья! Случилась беда:
Наш клуб, как решето, потек,
И мы явились к вам – тем паче,
Что путь и прям, и недалек.
Дошла примерно половина,
Но принесли и есть, и пить...

Люся (*ошеломленно*)

А мы к вам, Мирра Валентинна...

Бубенцова

Ах, стоит ли благодарить!
Всегда есть в жизни место чуду!

(к старичкам и старушкам)

Да-да, кладите сумки тут...

Люся (*мрачно*)

А мне так после мыть посуду!

Марк (*пророчествуя*)

Посуду раньше перебьют...

Люся

Спасибо! Успокоил, друже!

Марк (*в интонациях Пушкина*)

Мудрец не ищет похвалы...

Люся

На кухне, Бройтман, ты не нужен.

Бери... вот этих, ставь столы.

Витя

Да, старичков не меньше роты!

Ну, что ж, начштабом потружусь,

Поскольку для другой работы

Я в этих брюках не гожусь –

Трещат и в поясе, и ниже...

Увы мне! Мой несчастный зад...

Стол, пардон, к дивану ближе!

Посуду?.. Только под заклад!

Бокалы... Тара для салата...

Выносим мебель... так!.. бочком!..

Что значит – скатерть маловата?

Достелем стол половичком!

Максим, достань из-под кушетки...

Нет, справа место для ножа...

Что, не влезают табуретки?

Попробуйте в два этажа!

Да, коллектив – всему основа!

Один не смог, а вместе, глядь,

И справились! Кажись, готово...

Пожалуй, можно начинать!

Старички и старушки бойко занимают места. Шум, гам, треск табуреток, звяканье посуды... Бубенцова встает в нужную позицию во главе стола. Остаются без мест лишь Витя и Марк.

Нет за столом и Люси, застрявшей где-то на кухне.

Бубенцова (несколько игриво)

Прошу вас, дорогие гости!
Все, кроме рюмок, – лишний груз!
Раздумья тяжкие отбросьте!
Да будет крепок наш союз
С салатом, с холодцом из ножек...
Вот курица и винегрет...
Витюша, Марк, а вы-то что же?
А ведь и правда места нет!
Ах, в этом праздничном угаре!..
А здесь?.. А там?.. А на краю?..
Марк, на колени к тете Саре...

Марк (*мрачно*)

Я лучше с Витей постою!

Бубенцова (*вдохновляясь темой*)

...Я с другом!.. Хлеб наполовину!
На бой под снегом и дождем!..

Входит Люся и мгновенно оценивает ситуацию. Вероятно, ее тоже не прельщает возможность посидеть на коленях тети Сары или дедушки Шмулика.

Люся

Конечно, Мирра Валентинна!
Мы часик в кухне подождем...

Люся, Витя и Марк выходят в коридор и сталкиваются с Ирой, наряженной во что-то черное и леопардовое.

Ира

Вот! Я готова!.. Что случилось?

Марк *(в интонациях неизвестного поэта)*

Прельстительна, как взвод невест!..

Витя

Вся эта кодла к нам свалилась,
И, в общем, не осталось мест...

Люся *(восхищенно)*

Ну, обалдеть! Такого в жизни!..
Как самый лучший анекдот!..

Витя

На исторической отчизне
Еврей – и места не найдет?!
Айда на кухню... или к маме,
А то стоим, как караул...

Ира *(иронически обращаясь к Марку)*

На Марс? В Севилью? На Майами?
Сначала б отыскиали стул!

Марк *(отнюдь не смущаясь и даже горделиво)*

Зато я спер у них бутылку!

Витя *(с интересом)*

А что! Хорошие дела!

Ира

Звучит заманчиво и пылко!
Есть рюмки?

Марк

Нету! Из горла!
Я тост скажу! Мой путь измерен,
Я не Шварцнегер и не Гафт,
Я – Марк, и я сейчас намерен
С феминой пить на брудершафт,

А также с Люсенькой и Витей,
Хоть мы на «ты» давным-давно!

Запрокинув голову, пьет из бутылки.

Ира

Не увлекайтесь! Подождите!

Нет, это все-таки кино...

Неожиданно гаснет свет, и около минуты на сцене царит тьма. Когда вновь становится светло, мы видим две целующиеся пары – Витя с Люсей и Марк с Ирой.

Марк *(в паузе, с интонациями Маяковского)*

Да! Хорошо!

Ира *(озабоченно обследуя себя)*

...Как из-под пресса,

Но челюсть, кажется, цела.

Внезапно распахивается дверь в салон, и оттуда вслед за раскатами песни «Ой, мороз, мороз...» в состоянии легкой истерики выпадает Бубенцова.

Бубенцова *(то криком, то шепотом)*

...И никакого интереса!

Я две недели не спала!

Чтобы воззвать к высоким чувствам...

Программа вечера... вокал...

Чтоб люди встретились с искусством!

И символический бокал,

Как бы источник Иппокрены...

Чтоб остроумия салют!..

Марк *(в интонациях Экклезиаста)*

Во многом пиве много пены...

Люся

Так ведь поют!

Бубенцова

А что поют?!
С их песней на панель, на площадь!
Как солдатня...

Люся *(с испугом)*

Не может быть!

Бубенцова

...Про замерзающую лошадь,
Которую пора поить, –
Вот что для них в искусстве мило!

Витя

А я слышал – Шаляпин сам...

Бубенцова *(горестно)*

И лектора я пригласила,
Чтоб сообщение сделал нам:
«Израиль – имена и даты»...

Витя

...В ермолке? Тот, что с вами сел?
Так он пришел уже поддатый!

Бубенцова *(горестно)*

И он же первый и запел!

Марк *(глубокомысленно)*

А может, в качестве подарка?
Из уваженья, так сказать?

Оглушительно звонит телефон, стоящий тут же, в прихожей. Люся хватает трубку.

Люся

...Израиль! Слушаю... Тамарка?

Скучаем! Сколько можно ждать?

Занавес

Застолье третье. Неопознанный летающий еврей

Действующие лица

Витя Бройтман – плотный блондин, характер нордический с одесским акцентом.

Люся Бройтман – его жена, изнуряющая себя диетой и пешими прогулками.

Ира – подруга и соседка семьи Бройтман, разделяющая с Люсей ее спортивно-диетические страдания.

Марк – приятель семьи Бройтман и претендент на внимание Иры; тогда еще тощ, долговяз и весьма носат; характер занудно-лирический.

Красный и **Синий** – пришельцы из созвездия Морды Козлодога; они маленькие, зелененькие, по цвету различаются только их рожки-антенны.

Тамара – сестра Люси, безвидная фигура из Санкт-Петербурга, выражающая себя телефонным звонком.

Время действия: холодная, сырая ночь в конце зимы 2000-го года.

Место действия: угрюмая, грязная поляна где-то к югу от Афулы, в середине которой торчит здоровенный камень, похожий на испорченный зуб.

В финале – прихожая квартиры Вити и Люси, куда выходят двери салона, кухни, туалета; на столике у зеркала – телефон.

Предварительные сведения: *Афула – город на севере Израиля; Эйлат – курортный город на юге страны; Кинерет (иврит) – Тивериадское озеро; Виктюк – как будет сказано ниже, нечто рядом со слабительным.*

Переводы с идиш, иврита и прочих языков даны в сносках.

На сцене:

Вышеуказанная поляна. Мрачный свет луны освещает Люсю, прислонившуюся к камню, и Иру, которая лежит на земле и силится приподнять голову. Обе выглядят донельзя утомленными, их спортивные костюмы грязны и

протерты до дыр на локтях и коленях. Но и в этом состоянии наши героини не лишены известного шарма.

Ира (*страдальчески*)

Миг приближается летальный,
И жизнь пора мне оглядеть!..

Люся

Ирина, будь принципиальной,
Иначе нам не похудеть!
Сегодня телеса не в моде,
А наши вон как выросли...

Ира (*в забытьи*)

До Хайфы шли ногами, вроде,
А после, кажется, ползли...

Люся

Нет, мы ползем лишь от Афулы.
В ушах – оттуда чернозем.

Ира

Не помню, на ходу уснула...

Люся

Теперь к Эйлату поползем.
Что ж делать! Пусть далековато,
Но отступать нам не к лицу!

Ира

Когда вернешься в Кирьят-Ата,
Скажи детишкам и отцу,
Чтоб утром ели авокадо
С морковкой смешанным на треть,
А маме есть его не надо –
Ей тоже надо похудеть,
И что на Виктюка билеты –
Там, со слабительным, внизу...

Люся

Сама им и расскажешь это.

Ира

Нет, я уже не доползу!
Недолго, чувствую, осталось,
Так вспоминайте же меня...

Люся

Ты что, Ириш, проголодалась?

Ира

Еще б! Ни крошки за три дня!
Ползем, а будто бы ни с места...
К Эйлату! – страшно произнесть!

Люся

Зато изящна, как невеста!

Ира

Невесты тоже хотят есть!
Да я б сейчас за ложку каши
Любому!..

Люся

Боже сохрани!

Ира (*оборачивается и вскрикивает*)

Ой! Кто там?

На краю поляны возникают и быстро приближаются Витя и Марк. Они одеты по-походному, у каждого за плечами рюкзак.

Люся

Ну, конечно, наши!

Марк (*Вите*)

Я ж говорил тебе – они!

Витя

Ну, Марк, силен! (*Люсе*) Он от мерказа¹
– машины! люди! кутерьма! –
И ведь как точно шел, зараза!..

Марк (*галантно*)

Я шел по запаху «Климá»!

Витя

Вот это нос! А что, ответьте,
Он в рюкзаке своем несет!?

Марк (*еще галантнее и с намеком*)

Всем Евам – даже на диете! –
Желанен лишь запретный плод...
Галеты, сэндвичей немножко,
Сосиски – вот и все, что есть.
Я слышал – Ирочка за ложку...

Ира

Согласна! Но сперва – поесть! (*набрасывается на еду*)

Витя (*продолжая восхищаться Марком*)

Он шел – как носорог! Как витязь! –
Ну, тот, что в львиной шкуре был...

Марк

В тигрóвой... Люся, не давитесь,
Не тратьте понапрасну пыль!

Витя (*обращаясь к Люсе*)

Однако забрались не близко!
А как через Кинерет – вплавь?

¹ Мерказ (иврит) – центр города.

Люся (*возмущенно глядя на Иру*)

В обход...

Оставь мне хоть сосиску!

Сосиску, говорю, оставь!

Ира (*жуя*)

Как там родители?.. И дети?..

Витя

Передавали вам привет!

Люся

Сосиску!..

Ира

Мы же на диете,

Да и сосисок больше нет!

Но быстро как вернулись силы...

Марк (*галантно*)

Всегда к услугам милых дам!

Люся

И я ее еще тащила...

Все. Путь окончен. По домам!

В Эйлат – и с этакой подругой?

Да я с ней рядом...

Марк (*торопливо заканчивая за Люсю*)

...Не жилец!

Витюша, подними супругу...

Ира

Ах, Люсенька! Ну, наконец!

Эйлат – он и без нас не плачет!

Вернемся – деток обойми!

А что одна сосиска значит?

Люся (*клокоча и обращаясь к Вите*)

Жену, сказали, подними!
И помни, что еды пока мне
Не принесешь – ты не прощен!
Жена!.. голодная!.. на камне!..

Витя (*торопливо*)

Я нес одежду! Пищу – он!
Но дома – свежие пельмени!
Сейчас костюмчик сменим твой...
Насквозь и локти, и колени...

Марк (*задумчиво, с доброй улыбкой*)

Да-да, коленно-локтевой...
Непринужденно, шаловливо,
Как нам велит природа-мать!

Люся (*подозрительно*)

О чем ты, Марк?

Марк (*опомнившись*)

...Да ведь ползли вы
На четвереньках, так сказать,
Как предки... Впрочем, что вдаваться!

Люся

Допустим. Но встает вопрос:
Как нам до дома добираться?

Ира (*мечтательно*)

Ах, если б кто меня донес!

Марк (*быстро, но с намеком*)

Конечно, Ирочка, конечно!
Домчимся, как на вороной!
Но обещайте, друг сердечный...

Ира

Согласна!

Но сперва – домой!

Люся

Да, эти двое справят дело!

А вот меня кто понесет?

Витя *(с сожалением)*

Ты, Люсенька, недохудела...

Глядите! Что там? – вертолет?

Поляна освещается сверху мощным лучом голубого света, и в его потоке медленно опускается летающая тарелка. Из нее по трапу спускаются два маленьких зелененьких пришельца и подходят к нашим героям. У одного из новоприбывших синие рожки-антенны, у другого – красные.

Витя *(шепчет Люсе)*

Утащат. Все твои нагрузки...

Диета! Говорил – не лезь!

Краснорогий *(в дальнейшем – Красный)*

Я слышу, медабрим¹ по-русски,

А где Израиль?

Ира

...Это здесь!

Красный *(вновь путая языки)*

Тоди чога ж російська мова?

Скьюз мі! Аз лама по русит²?

Марк *(по непонятным причинам сбиваясь на застольный жаргон)*

Алаверды! Позвольте слово!

¹ Медабрим (иврит) – говорят.

² Аз лама по русит? (иврит) – тогда почему тут русский язык?

Синерогий (*в дальнейшем – Синий*)

Пускай носатый говорит!

Марк (*сбиваясь на стиль приветственных речей*)

От имени всего народа
И русскоговорящих масс...

Синий

Ну вот! Знакомая порода.

Красный (*рассматривая Марка*)

Позвольте в профиль... И анфас...
Конечно, надо бы точнее,
Но, думаю, что он еврей.

Синий (*явно тяготея к блатной лексике*)

Шалом, братан! И мы еврей!
Ну, где тут плачут? – ейн, цвей, дрей!

Витя (*балдея*)

Еврей? Вы?!

Синий (*переходит на русско-одесский*)

А шо такое?

Красный

Мы с обитаемых планет
В созвездье Морды Козлодоя...

Витя (*с ужасом*)

Так мы и там?..

Синий (*с родной до боли интонацией*)

А где нас нет?

Витя (*опускаясь на землю*)

Мне дурно... Видимо, дорога...
Позвольте сесть на пять минут...

Но для чего?..

Красный (*охотно объясняет*)

Евреев много,
А место Плача – только тут!
Вы, видно, победнее были:
Ваш Храм разрушил древний гой¹,
А мы за бабки откупили...

Синий

Не трожь родимый Козлодой!

Красный

Порою путь далек и страшен,
Но так уж издавна пошло:
Сюда летят тарелки наши...

Марк

И что ж? – все эти эНэЛО
Еврейми набиты, значит?

Синий

Да ты, братан, врубись скорей:
Еврей – он если не поплачет –
То, вроде бы, и нееврей!
И премся ну в такие дали!
Горячего сожгли – не счесть!
А так бы дома отрыдали,
Поближе...

Марк (*сочувствуя космическому еврейству*)

Да, проблема есть!

Витя (*впадая в истерический пафос*)

Лети, небесная посуда,

¹ Гой (иврит) – иноверец.

Ведь только на Земле у нас
Разрушен Храм!..

Марк (*вдруг вспомнив прошлое*)

А вот откуда
Ваш лингвистический запас?

Синий

Ну это просто! Путь неблизкий,
Зубрю, как вахту не стою.
Спроси, что хочешь, по-английски...

Марк (*поднатужившись*)

Как... «Я люблю вас»?

Синий

Ай лав ю!
Так и учу, пока летаю,
Иначе чокнешься совсем!
«Ихь либе дихь...»

Витя (*слабым голосом*)

Немецкий, знаю...

Люся (*недоверчиво*)

А по-французски?

Синий

«Же ву зэм»!
А это: «Чик-чирик...» – ?

Ира (*напряженно морща лоб*)

Испанский?

Витя (*неожиданно умиляясь*)

Ну прямо зяблик под кустом!

Синий

Еврейский! По-альдебарански!¹
Там наши в перьях и с хвостом!
Но главное – иврит...

Люся (*воспитывая Витю на положительном примере*)

Вот видишь!
Зубрят с утра и до утра!

Красный

Все. Зай гезунд²!

Витя

А это идиш...

Синий

Киш мир ин тухэс³! Нам пора.
Еще немножко летаем,
А там уже и по домам!

Красный

А где у вас Ерушалаим⁴?

Ира (*рукой указывая куда-то в сторону*)

В котором плачут? – это там!

Синий (*мечтательно*)

Теперь бы тяпнуть на дорожку!
Лехаим! – и прощай-прости!

Ира (*кокетливо*)

А не могли бы вы... немножко!..
Нас в Кирьят-Ата подвезти?

¹ Альдебаран – созвездие.

² Зай гезунд (идиш) – будь здоров.

³ Киш мир ин тухэс (идиш) – поцелуй меня в зад.

⁴ Ерушалаим (иврит) – Иерусалим.

Красный

Где это? На Земле?

Ира

А как же!

Синий (*азартно*)

Да это ж, блин, совсем легко!

Красный

У нас теперь умеет каждый
Перемещать недалеко
Любую вещь усилием воли,
А у него так просто страсть!..

Синий

Пусть кто-то, ну, представит, что ли,
Куда хотите вы попасть...

Витя (*мечтательно прикрыв глаза*)

Так! Очень точно представляю:
Бачок, сиденье, туалет...

Синий

Готово? Я вас отправляю.
От нашей Морды всем привет!

Яркая вспышка. Когда свет слабеет, мы видим всех наших героев стоящими в прихожей квартиры Вити и Люси, возле двери в уборную.

Ира

Ой, я боюсь!

Люся

Чего бояться,
Когда мы добрались домой?!

Витя (*скрываясь за дверью туалета*)

Позвольте временно расстаться!..

Марк (*грустно*)

А я хочу на Козлодой!

Тарелку б мне! Хотя бы миску...

Витя (*кричит из-за закрытой двери*)

Ты козлодойский изучай!

Резко и неожиданно звонит телефон. Люся хватает трубку.

Люся

Тамара? Да! А где сосиска?

Нет, это Марку... Прилетай!

Занавес

Застолье четвертое. Юбилейные страсти

Действующие лица

Витя Бройтман – в меру упитанный блондин с несколько осунувшимся лицом; когда-то преподаватель, потом израильский безработный, а ныне учащийся мехины¹.

Люся Бройтман – его жена, тяжело переживающая успехи мужа на ниве просвещения.

Бубенцова Мирра Валентиновна – пожилая дама, в прошлом преподаватель кафедры этики и эстетики, что и поныне сказывается в одежде, восторгах и цитатах.

Ира – подруга и соседка семьи Бройтман, работает в чем-то лечебно-химическом, женщина очень и очень...

Марк – приятель семьи Бройтман и поклонник Иры по совместительству; иногда неглуп, охотно признается в собственных достоинствах и в чужих недостатках.

Тамара – сестра Люси, звонящая ей из Санкт-Петербурга.

¹ Мехина́ (иврит) – подготовительное отделение высшего учебного заведения.

Время действия: переходный период на стыке 2-го и 3-го тысячелетий.

Место действия: квартира семьи Бройтман в Кирьят-Ата.

На сцене:

Салон вышеуказанной квартиры. За окнами ранний вечер, смеркается... В салоне сидят Люся и Марк. На полу валяется еще не разобранный сумка Марка. Люся в домашней одежде (может быть, это спортивный костюм или брюки и свитер). Глаза Люси красны. Марк вскакивает и начинает ходить по комнате...

Марк (раздраженно)

Что происходит, в самом деле?

Где Витька в этот поздний час?

Ты плачешь...

Люся

Да! Уж две недели

Такое, Марочка, у нас...

Марк

Недаром я спешил в дорогу!

Что с Витей? – рвота, кашель, бред?..

Люся

Нет, все здоровы, слава Богу...

Марк

С квартиры гонят?

Люся

Тоже нет...

Марк

Гуляет, что ль?

Люся отрицательно качает головой.

Так почему же

Я застаю тебя одну?

Люся

Все хуже, Марк, гораздо хуже!
Он поступил на мехину...

Марк *(с пониманием)*

Ах, вон как! Да, зубрежка, нервы...
Он что – учителя убил?

Люся

Да если б! Он в учебе первый!
– Великим буду! – заявил...
Пусть! Я согласна! Но учиться –
Как будто жизнь сплошной урок?
Зубрить страницу за страницей
Навек, на память, назубок?..

Марк

Завидую такому рвеню!

Люся

А то вдруг в ванной заперся –
Мол, в Архимеде есть сомненья...
Я аж перепугалась вся:
Не утонул бы! Тяжко очень...
Чужие в нем и вид, и нрав.
Сегодня вот проснулся ночью
И говорит:

– Ньютон не прав!

Марк

А дальше?

Люся

Я, конечно, сразу:
– Да, Витенька! –

Ведь сколько лет!
А он заканчивает фразу...

Марк

А дальше?

Люся (*горько*)

Дальше тоже нет...

Марк (*утешая*)

Ну, не вчера – так завтра будет!

Люся

Да кто же против говорит?
Но он сегодня снова будит...

Марк

И что?

Люся

Теперь не прав Евклид...

Марк

Ах, вот зарыта где собака!
Наш Бройтман, если понял я,
Ночами вместо тайны брака
Вникает в тайну бытия!

Люся

Нет, Марик, здесь не все снаружи!
Готовка, дети, никайон¹ –
Самой мне часто не до мужа,
Но чтобы ночью – и Ньютон?!
Такого раньше не бывало...
А как с лица-то похудел!
Недавно я ему сказала:

¹ Никайон (иврит) – уборка.

– Съешь, Витя, коржик! – и не съел...

Марк (*задумчиво*)

Ну, что же, Люся, я послушал.

Пора улаживать дела...

Чтоб Витя – коржика не скушал?!..

Люся

И я представить не могла...

В это время появляется Витя и, не замеченный Люсей и Марком, останавливается в дверях. Он в темном костюме и галстуке, с портфелем-дипломатом. В нем ощущается надменное величие.

А в доме тягостно отныне.

Блюдем режим и тишину,

Как в карцере или в пустыне...

Витя (*снисходительным тоном и не здороваясь*)

Опять ругаешь мехину!

А главное совсем не в школе!

Я в ней лишь осознал порыв

К высокому...

Марк, ты давно ли?

Как жизнь, успехи, Тель-Авив?

Марк (*с нарочитой фамильярностью*)

Ну, забурел, братан Витюша!

И гость заждался, и жена.

Пора бы тяпнуть и покушать!..

Витя (*наставительно*)

Во всем умеренность нужна,

А, впрочем, сухарей и чаю...

Люся (*возмущенно*)

И этим мне кормить гостей?

Витя

Все беды, как я замечаю,
От жира, лени и страстей.

Марк

Платон! мыслитель! – я уверен,
Ты первый разрешил вопрос,
Кто всех счастливей...

Витя (*подозревая подвох*)

Кто же?

Марк

Мерин!

Он ест лишь сено да овес,
Он пашет век весь лошадиный,
Не чуя головы и ног,
И ни страстишки – ни единой! –
Не знает мерин...

Витя

Демагог!

Там грива, хвост, и ног – четыре,
И разум развит не вполне,
И ни одна скотина в мире...

Марк (*торжественно*)

Не учится на мехине!

Витя (*еще торжественнее*)

Лишь чей-то дух, презрев оковы,
Взлетает в вышние края,
Как все завистники готовы...

Марк

Один из них, конечно, я?
А раз до сухарей вприкуску

Мой дух пока что не дорос,
Людмила, доставай закуску,
А водку я с собой привез.

Люся быстро накрывает на стол. Марк наливает себе и ей, а третью наполненную рюмку оставляет как бы без хозяина.

Марк (*продолжает*)

Под эти нежные грибочки,
Под рыбный розовый филей
Отметим, Люся, без отсрочки
Большой научный юбилей!

Витя (*нервно глядя на третью рюмку*)
Чей... юбилей?..

Марк (*твердо*)

Большой. Научный.

В доме возвышенном твоём
– пусть некоторым это скучно! –
За Бойля Мариотта пьем!

Витя (*приближая рюмку к себе*)

Ну, почему же... Вместе все мы!
Не скучно! Вовсе даже нет!
Он автор этой... теоремы?

Марк (*трубным голосом*)

Ему сегодня триста лет!

Витя (*поднимая рюмку*)

С утра во мне дрожало что-то.
Теперь я понял – почему! –
И я за Бойля Мариотта
Неужто рюмки не приму?
Спасибо, Марк! Напомнил другу!

Все выпивают.

Люся (*заботливо*)
Грибочка беленького в рот!

Марк (*деловито*)

Витюша, поцелуй супругу:
Ей тоже дорог Мариотт!

Витя и Люся целуются.

Марк (*торжественно*)

Друзья, я удостоен чести,
Хотя слова тут не нужны,
Сказать, что мы душою вместе,
И, значит, снова мы должны...

Все дружно выпивают.

Витя (*задиристо*)

Да, выпиваю! Ну, и что же?
Научная причина есть!
Нам ребе Мариотт дороже,
Чем просто выпить и поесть!

Люся (*расслабляя на муже галстук*)

Вот так и вольно, и удобно...

(шепотом Марку) Ну, ты и учудил сюрприз!

Марк (*шепотом Люсе*)

Лечить подобное подобным –
Известный, Люсенька, девиз
В гомеопатии... А Витьку
И с пары рюмок разберет.
(Обращается к Вите) Витюша, спой!

Не все же пить нам...

Витя (*голосом ведущего концерт*)

Кантата «Славься, Мариотт!»...
Пока без слов. И без мотива.
И без певцов. Но – хороша!

Марк (в недоумении)

А как же исполнять?!

Витя (с несокрушимой логикой)

Красиво!

Торжественно! И не спеша!

Марк ест, пьет и дирижирует одновременно.

Сперва у нас виолончели,
Немного водочки... Потом
Труба, фаготы и свирели
Под маринованным грибком!
Теперь скрипичное стаккато
И в унисон виолончель,
И сразу ложечку салата,
И рюмочку а-натюрель¹!
Хор мальчиков поет пиано...
Ударные! – и пирожков!
И я... на краешке дивана,
Полчасика... Итз вери... тов² (засыпает).

Марк

Абзац! Большая перемена!
Наш гений предается сну
Торжественно и вдохновенно!..

Входит Ира. Она в деловом платье и домашних тапочках. Ира с удивлением смотрит на разоренный стол и спящего на диване Витю.

Ира

Он что – окончил мехину?
Давненько у моей подруги
Посудой не звенели тут.

¹ А-натюрель (франц.) – чистенькой.

² Итз вери... (англ.) – это очень... тов (иврит) – хорошо.

Марк *(философски)*

Все возвращается на круги...

Витя *(во сне, но отчетливо)*

Не трожь родной пединститут!

Люся

Да ведь и ты, Иринка, тоже
С тысячелетия того!..

Ира *(грустно)*

Ах, Люся, я тогда моложе...

Марк *(медовым голосом)*

Вы, Ирочка, у нас – ого!
Прическа – будто из салона!
Фигурка – хоть в фотоальбом!

Ира *(деловито)*

Резьбу сорвете с патефона!
Так по какой причине пьем?

Люся

Не в духе ты, Иринка, что-то,
Марк, водки женщине налей...
Мы пьем за Бойля Мариотта,
За трехсотлетний юбилей!

Ира *(сухо и насмешливо информирует)*

Их двое. Изучали газы.
Так что там у кого из них?

Марк *(в сердцах, тихо)*

Она же химик! Как я сразу!..

Витя *(неожиданно просыпаясь)*

Раз двое, выпьем за двоих! *(засыпает опять)*

Марк (*сбивчиво пускаясь в новую авантюру*)

С ним... с ними... Просто для примера...

Конечно, да! Конечно, нет...

А собрались мы в честь... Пастера!

Ему сегодня двести лет!

Ира (*удивленно поднимая брови*)

Пастеру – двести лет? Не знала...

Марк (*умело впадая в экстаз*)

Великий разум! Дивный дар!

Люся

Все. Я от гениев устала...

Витя (*неожиданно просыпаясь*)

Что, есть и третий юбиляр? (*засыпает опять*)

Ира (*задумчиво*)

В лаборатории – ни слова...

Марк (*с пафосом негодования*)

Великих помнить не спешат!

Ира (*смирясь*)

Ну, за Пастера я готова...

Марк (*с энтузиазмом*)

И, как всегда, на брудершафт!

Чтоб выпить – и поцеловаться,

А в юбилей – так и вдвойне!

Ира (*с безнадежностью*)

А знаете, кому отдаться¹,

Марк, легче, чем?..

¹ Ира вспоминает анекдот: «Зануда – это тот, кому легче от-
даться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь».

Марк (*радостно*)

Да! Знаю! Мне!

Ира

Ну, ладно! Если так, налейте,
Озябла очень под дождем.

Люся

Вы тут без нас... поюбилейте,
А мы с Витюшей спать пойдем.
Вставай, мой птенчик, гений, пуся,
Алкашик! Да вставай скорей!..

Звонок в дверь. Люся роняет Витю, который с готовностью падает на диван и засыпает, а сама бежит открывать. Из коридора доносится голос Бубенцовой.

Бубенцова

А вот и я! Не ждали, Люся?

Люся и новая гостья входят в комнату.

И вновь я на пиру друзей!
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет...

Марк (*шепотом Ире*)

Да что ж ее ночами носит!
Пропал наш с вами тет-а-тет!
(*К Бубенцовой*) Рад видеть, Мирра Валентинна!
Для вас готов всегда и весь!..

Бубенцова (*чуть кокетливо*)

И что за важная причина
Моих коллег собрала здесь?

Марк (*в новом озарении*)

Не может быть! Побойтесь Бога!
Вы – культуролог и эстет! –

Забыли юбилей Ван-Гога?!
Не может быть! Не верю! Нет!
Ему же полтора столетья!
Все – от низов до высших сфер...

Бубенцова *(почти в панике)*

Ах, ах! Очки хочу одеть я!
Скорей включите ЭрТэЭр!

Марк *(сокрушенно)*

Увы! Несчастные мы люди!
В славнейшую из славных дат
У Бройтманов сломался «Грюндиг»...

Люся *(удивленно)*

Как, разве?..

Марк *(торопливо)*

Полчаса назад!
Ужасно! Хоть бросайся с крыши!
Ведь пропустить такой момент:
Музей в Москве! Салон в Париже!
И в Амстердаме монумент! –
Все в первый раз!.. В прямом эфире!..
С экранов мир не сводит глаз!
А мы как заперты в квартире...

Бубенцова

Друзья, я покидаю вас,
Чтоб непосредственно, воочью...
А может быть, ко мне пойдём?

Ира

Спасибо, но обратно... ночью...

Марк *(с хорошо спрятанным удовольствием)*

Вы нам расскажете. Потом!

Бубенцова

Ах, Марк, я так вам благодарна!
Лишь вы один, среди кутерьмы!.. *(убегает)*

Ира *(с иронией)*

И правда – трудитесь ударно!
А кто же следующий?

Люся *(с остановившимся взглядом)*

...Мы!

Марк *(осторожно)*

Устала, Люсенька? Поспать бы...

Люся *(смеясь)*

Тут с вами чокнется любой!
Забыть про годовщину свадьбы!..

Витя *(ревнуя спросонок)*

С кем? С Мариоттом?

Люся

Нет, с тобой!

Марк *(обалдело)*

Ты что, серьезно?

Ира

Ну и с Богом!

Теперь уж точно повод есть!

Витя *(проснувшись и загибая пальцы)*

Бойль с Мариоттом, я с Ван-Гогом,
Пастер и Люська – это шесть!

Марк *(думая о своем)*

Ну, нет так нет... Ох, и напьюсь я!
(К Вите) Давай, жених, гостям налей...

Оглушительно звонит телефон. Люся бежит в коридор и хватает трубку.

Люся

Израиль... Томочка? Да, Люся!

Да... Отмечаем юбилей!

Занавес

Тель-Авив, декабрь 2000 г.

Эйтан Адам

История, истина, споры

«Паникер резюмировал: дискуссия окончена, истина подохла в споре.»

Александр Зиновьев, «Зияющие высоты»

В Тель-Авиве одна из центральных улиц носит имя Арлозорова. Она начинается от берега моря – именно там, где 16 июня 1933 года был убит доктор Хаим Арлозоров, глава отдела внешних сношений Еврейского агентства (*Сохнута*), де-факто – министр иностранных дел тогдашнего еврейского *ишува* в подмандатной Палестине, своего рода «государства в государстве». Последствия его смерти были просто ужасны.

В то время отношения между «левыми» сионистскими партиями, контролирующими Сохнут, и оппозиционными к ним сионистами-ревизионистами были и так достаточно плохими. Но смерть Арлозорова и обвинение ревизионистов в убийстве довели дело до крайних проявлений вражды. В течение многих лет до гражданской войны было рукой подать. Собственно, корни вражды между современными крупнейшими израильскими партиями «Авода» и «Ликуд» дали первые всходы еще тогда, когда гг. Ш. Перес и А. Шарон под стол пешком ходили, а большинство их ближайших соратников даже не успело родиться.

В последнее время многие жалуются, что израильская молодежь начисто не интересуется собственной историей. Занимаясь историей этого убийства, я, бывало, им завидовал – такая гадость. Но сам я из тех, кому история покоя не дает. И я приглашаю всех желающих – за мной, в дебри до сих пор не раскрытого убийства.

Выражаю свою огромную благодарность Шабтаю Тевету, написавшему книгу «Убийство Арлозорова»¹, в которой он внимательно собрал и рассортировал все имеющиеся факты.

¹ שבתי טבת, "רצח ארלוזורוב".

* * *

Приход Гитлера к власти в феврале 1933 года хотя и был событием, но мало кто тогда предполагал, что слова полуфигляра-полуистерика не пустой треп, и что кровь – большая кровь – не за горами. Арлозоров был один из немногих, кто не недооценил опасность. Более того, он смог убедить в этом своих товарищей из руководства партии «МАПАЙ» и руководства Сохнута. 26 апреля 1933 года он выехал в Европу в свою последнюю дипломатическую миссию.

Незадолго до этого группа полулегальных репатриантов из Польши застряла в Марселе. Именно Арлозоров добился для них «сертификатов» у британских мандатных властей. 9 марта группа сошла на берег в Яффе. Одним из них был высокий крупный мужчина по имени Авраам Ставский. К тому времени он уже был убежденным сионистом-ревизионистом и поклонником знаменитого Аббы Ахемеира – Ахемеира, смех которого могли слышать только очень близкие люди; Ахемеира, отдавшего свою единственную (в то время) дочь на удочерение своей сестре в кибуц Дгания-бет; Ахемеира, обуреваемого ненавистью к «левому» лагерю; Ахемеира, которого сам глава ревизионистов Жаботинский не раз одергивал; Ахемеира, публиковавшего заметки под рубрикой «Из блокнота фашиста».

Следует отметить, что слово «фашист» уже тогда приобрело у «левых» статус ругательного. А Муссолини в то время считался еще «своим» в Европе, Италия была членом Антанты.

Вскоре Ставский – поденный рабочий-строитель – и Ахемеир – журналист и редактор – поселились в одной комнате в дешевом бараке в южном Тель-Авиве.

* * *

А Арлозоров тем временем колесил по Европе. По три поездки в Берлин и в Лондон, две поездки в Вену, также Прага, Братислава, Варшава, Антверпен, Краков, Львов... Дипломатические переговоры и избирательная кампания – приближались выборы на XVIII Сионистский конгресс. Но всему есть конец, и Арлозоров пустился в обратный путь.

Во Львове из-за пресс-конференции он опоздал на

поезд. Из Кракова в Вену ехал ночным поездом, в котором не было спального вагона. В Вене пришлось ждать итальянской визы. Не попал на самолет, с трудом поспел на последний поезд в Рим. В Риме забыл паспорт в гостинице. Обнаружив это в поезде по дороге в Неаполь, послал телеграмму с просьбой выслать ему паспорт следующим поездом, так как корабль должен уйти в полдень. В Неаполе, выходя из вагона, разбил окно – опять задержка. Потом оказалось, что он сошел не на той станции. Позвонил в Рим в гостиницу, а там никакой телеграммы не получали, но обещали, что вышлют паспорт немедленно поездом, прибывающим в Неаполь в 4 пополудни. Оказалось, что и корабль задерживается до 4-х пополудни. Наконец, с паспортом в руках бегом (буквально) на корабль. Через минуту после его прибытия на борт подняли трап.

Сначала Арлозоров хотел, чтобы его жена Сима встретила с ним в Каире, но потом не захотел встречаться с ней 13 числа – он был немного суеверен, и внушительный список всевозможных неприятностей при возвращении уже вселял в него тревогу, а тут – число 13. Поэтому попросил ее присоединиться к нему в поезде в Реховоте.

И вот, в 6 утра 14 июня Сима села к нему в поезд в Реховоте. Вместе они прибыли в Тель-Авив в 9. Там их уже встречали. Они поехали на свою временную квартиру по улице Яркон 82 – новая квартира в Иерусалиме была в ремонте. Но ненадолго – встречи, заседания, визиты... Весь день. А вечером – вечером, как всегда, маленький сын играл обручальными кольцами родителей. Но в конце, почему-то, надел их оба на палец Симе. Отец его поправил: вот когда папы не будет, тогда сделаешь так....

И следующий день – 15 июня – был забит до отказа, и надо было поехать в Иерусалим. Сима поехала вместе с ним, они заночевали в пансионе Гольдшмида.

16 июня, в пятницу, Сима планировала пообедать вместе, спокойно вернуться в Тель-Авив, а позднее уединиться в какой-нибудь гостинице подальше от всевозможных помех. Но – неожиданное приглашение к британскому верховному комиссару спутало все планы. Сима вернулась в Тель-Авив одна и только после пяти вечера снова увидела Хаима.

Все планы были нарушены, Сима издергалась. Они решили провести этот вечер дома и только на следующий день – в субботу – спрятаться в гостинице. Они сели на балконе, но вечером в пятницу народ гулял, и слишком многие с ними здоровались. Они пошли поужинать в пансион Каты Дан, но и там отбою не было от знакомых. И тогда они решили прогуляться вдоль берега моря – Тель-Авив в то время был маленьким, и до окраины было всего ничего.

В тот же день 16 июня Авраам Ставский с утра уехал в Иерусалим. Он собирался выехать за границу для организации нелегальной репатриации. Для этого было необходимо получить много виз. Ставскому не удалось завершить все свои дела, и он остался ночевать в Иерусалиме в пансионе Турджемана, чтобы назавтра продолжить беготню.

А еще утром того же 16 июня в газете «Хазит г`а-ам» (*Народный фронт*, редактор – Абба Ахимеир) была опубликована статья Йоханана Погребинского «Союз Сталина–Бен-Гуриона–Гитлера». Не буду пересказывать статью, но с точки зрения Погребинского сама попытка Арлозорова – неудавшаяся – вести переговоры с германским правительством была попыткой заключения союза с Гитлером с благословения Сталина. А заканчивалась статья так:

Еврейский народ, который всегда знал истинную цену торговцам его честью и учением, и теперь сумеет ответить на эту мерзость, происходящую средь бела дня на глазах у всего мира.

* * *

Все, что мы знаем об этой прогулке, известно со слов Симы Арлозоров.

Они вышли из пансиона Каты Дан около 9:30 вечера и направились вдоль берега моря на север. Город кончался близко, там, где сейчас бульвар Бен-Гуриона. Дальше в дюнах было излюбленное место влюбленных парочек. К северу было небольшое мусульманское кладбище, отдельные сельскохозяйственные угодья. И только у самого устья реки Яркон находился новый жилой квартал. Участок берега длиной около полутора километров был совершенно пустынным, за исключением время от времени попадававшихся арабов, ведущих своих навьюченных верблюдов в Яффу.

Именно туда пошли Арлозоровы. Пока они шли мимо парочек Сима была спокойна, но на пустынном берегу вновь начала нервничать. Однако Хаим предложил прогуляться дальше. Двое мужчин догнали их и обогнали. Один был высокий и крупный (позднее он фигурировал под №1), а второй, наоборот, маленький (соответственно №2). Они шли впереди Арлозоровых, затем остановились, №1 повернулся лицом к морю, расставил ноги и помочился на песок, №2 стоял рядом с ним. Арлозоровы обошли их и пошли дальше.

Они дошли до нового квартала, погуляли в нем и повернули назад. Через некоторое время они обнаружили, что №1 и №2 медленно идут впереди них. Сима была уверена, что это были те же самые. Арлозоровы их обогнали, но и те прибавили шагу и сами обогнали Арлозоровых. Сима припоминала, что так случилось два или три раза.

Уже вблизи Тель-Авива (и влюбленных парочек) мужчины впереди остановились и обернулись – №1 встал напротив Симы, №2 напротив Хаима. №1 осветил лицо Хаима электрическим фонариком.

Хаим и Сима попросили их не мешать, и тогда №1 спросил на иврите без акцента: «Который час?» Хаим ответил: «Не твоё дело.» №1 повторил вопрос. Арлозоровы двинулись вперед. Тогда №2 достал браунинг, Сима ясно услышала двойной лязг передернутого затвора. Раздался выстрел, Хаим Арлозоров упал на четвереньки, №1 и №2 бросились бежать и исчезли в темноте.

Было около 10:30 вечера.

* * *

Хаим пытался ползти в сторону домов, Сима ему помогала. Потом он сумел встать и опереться на Симу.

Через несколько минут прибежали люди, оставив своих пассий в дюнах. Они подняли Хаима и понесли его в сторону кожевенного завода «Левкович», ближайшего городского здания. А Сима поспешила в пансион Каты Дан, чтобы вызвать по телефону машину скорой помощи.

Тем временем Хаима донесли до завода и там стали ждать машины. Собралась толпа, Хаим, будучи в полном сознании, жаловался на сильную боль на иврите и на

немецком. Кто-то предложил отвезти его в больницу на частной машине – несколько машин стояли на улице. Удалось найти одного из хозяев, жена которого оказалась медсестрой. Они и доставили раненого в больницу «Хадасса».

Больница была небольшой, и в тот момент в ней не было ни одного хирурга. Дежурный врач и медсестра начали оказывать первую помощь. А вокруг больницы стала скапливаться толпа, пришел даже старый Меир Дизенгоф, мэриель-Авива. Из дома был вызван и немедленно явился доктор Арье Алотин, заместитель начальника хирургического отделения. Дизенгоф вызвал частного хирурга Хаима Штейна, тот тоже явился без промедления.

Впрочем, дело было ясное. Ранение в живот, внутреннее кровоизлияние, остановить которое можно только хирургическим путем. Но Дизенгоф не успокоился, были доставлены доктор Меир Резникович и доктор Макс Маркус, будущее светило израильской хирургии. Доктор Маркус взял руководство в свои руки и потребовал сделать немедленно переливание крови.

В те времена не было замороженных порций крови, не было и кровяной плазмы, которую можно перелить даже в полевых условиях. Кровь переливали от живого донора. Добровольцы нашлись в толпе быстро, но определение групп крови Хаима и добровольцев заняло некоторое время. И тут оказалось, что больница вообще-то не предназначена для больших операций, и нормальное оборудование для переливания крови в ней попросту отсутствует. Имелся только примитивнейший инструмент, с которым доктор Маркус не мог работать.

За дело взялся доктор Штейн, остальные ему помогали. Но время было упущено, и доктор Хаим Арлозоров скончался от потери крови в 12:45 после полуночи. Как и было записано в официальном заключении.

* * *

Сима бежала вдоль берега, кричала, что стреляли в Арлозорова, и так добежала до пансиона Каты Дан. Хозяйка тут же провела ее к телефону, но Сима была не в состоянии говорить. Тогда хозяйка сама позвонила в «Маген Давид

Адом»¹, а затем и в полицию. Но рядом оказался полицейский в штатском, он и взял первые показания, в которых она обвиняла арабов. Позднее она отказалась от этих слов.

Хотя Сима торопилась в больницу, но полицейские убедили ее показать им место преступления, потом ей показывали фотографии известных полиции преступников. Наконец, она прибыла в больницу – к кончине мужа. Обе его сестры уже были там, и даже его верующая мать, нарушившая ради этого святость субботы – ее привезли на автомобиле.

А полиция взялась за дело, но... сначала полицейские прочесали местность, а только утром вызвали следопытов. Сима тем временем давала новые показания.

Утром преступники были объявлены в розыске, было опубликовано их описание – фотороботов еще не изобрели. Полиция объявила награду в 500 фунтов, Сохнут добавил от себя 1000 фунтов – астрономические, по тем временам, суммы. Маховик набирал обороты.

* * *

Арлозорова хоронили 18 июня, в воскресенье. Похороны имели общенациональный характер, в них участвовали представители всех партий и общественных организаций, в том числе и ревизионисты. И Сима надела на палец оба обручальных кольца.

Общее мнение было склонно обвинять арабов или коммунистов – извечных врагов сионизма, – хотя в некоторых газетах уже были сделаны намеки на возможную политическую причину убийства. Интересно, что никому не приходила в голову какая-нибудь более банальная причина – попытка ограбления, например.

Но еще в субботу вечером два работника эмиграционного отдела в Иерусалиме, Халуц и Тавори, опознали в полицейском описании Авраама Ставского, заходившего к ним накануне в отдел. И, как законопослушные граждане, заявили в полицию. В ту же ночь Ашер Хазан, квартиро-, вернее, баракохозяин, где он жил с женой и сдавал комнату Ставскому и Ахимеиру (с удобствами во дворе), также

¹ Красный щит Давида.

опознал в описании Ставского. А позднее, прослышав об астрономической награде, Ашер и Ривка Хазаны наговорили в полиции с три короба об обоих своих постояльцах. В частности, оба утверждали, что видели и Ставского, и Ахимеира в пятницу ранним вечером дома.

19 июня под утро полиция явилась в барак. И Ставский, и Ахимеир были дома. Сначала был обыск, давший почти нулевые результаты, потом увели Ставского. Ахимеир был немало удивлен: как журналист и редактор крайней «правой» газеты, а также как лидер тайного союза «Брит г`а-Бирйоним» он был уверен, что пришли за ним, а не за «простым» Ставским. Впрочем, ему недолго осталось разочаровываться, и он получил свою порцию тюремной баланды.

В тот же день во второй половине дня Сима Арлозоров опознала Ставского как №1.

Хотя факт ареста Ставского, как и его партийная принадлежность, были опубликованы только 21 июня, слухи об этом начали циркулировать гораздо раньше. Так или иначе, с этого момента следствие уже не могло работать нормально.

Немедленно со стороны «левых» прогремели обвинения в адрес ревизионистов в организованном вооруженном заговоре с целью перебить тогдашних руководителей еврейского *ишува*. Была создана «комиссия» (*ваада́*), которая должна была помогать и партии «МАПАЙ», и следствию (!) «установить истину».

«Правые» сначала были в растерянности и даже пробовали отмежеваться от Ставского. Но когда аресты пошли дальше, они создали «группу» (*квуца́*) с аналогичной целью. «Левых» обвинили в «кровоавом навете».

И «комиссия», и «группа» не знали и знать не хотели о юридических нормах и ограничениях. Часть следователей попала под влияние «комиссии». Дошло до того, что один из следователей, Иегуда Арази, видя многочисленные «свинства» (*хазируйот*) в расследовании, не нашел ничего лучшего чем помогать «группе». Позднее он был вынужден уйти в отставку.

У полиции возникли проблемы с иерусалимским алиби Ставского. Быстро стало ясно, что он-таки провел большую часть пятницы в Иерусалиме – его видели многие

люди – и в Иерусалиме же оказался в субботу рано утром. Но, как это бывает, следствие выстроило свою теорию. Получалось, что Ставский прибыл в Иерусалим, потому что там уже был Арлозоров. По теории, в заговоре участвовало несколько групп: кто-то следил за Арлозоровым, кто-то помогал перемещаться Ставскому и №2 – в частности, срочно доставил Ставского на автомобиле в Тель-Авив, а затем вернул обратно – еще кто-то осуществлял связь между группами, всего порядка 15 человек. Им даже в голову не пришло, что если планировали убийство в Иерусалиме, то убийцы должны были для алиби быть в другом месте и лишь в последний момент явиться на место преступления, а не крутиться по Иерусалиму у всех на виду.

Но пока что у полиции в руках был только Ставский. И никаких намеков на №2. Сам же Ставский и не думал колоться. Поначалу он даже отказался от адвоката, ибо считал, что невиновному человеку адвокат не нужен.

* * *

Настоящую историю Ривки Фейгин мы уже не узнаем, наверное, никогда. Достаточно сказать, что ее дважды исключали из ревизионистской организации «Бейтар» – сначала в Румынии, потом в Палестине. После процесса она уехала за границу, и след ее пропал.

Она сама обратилась в «комиссию». С самого начала она не вызывала доверия – все-таки членами «комиссии» были серьезные люди. Но уж слишком интересные песни они услышали. В конце концов, даже Берл Кацнельсон – редактор профсоюзной газеты «Давар» и очень уважаемый человек – поверил ей.

Ривка Фейгин однозначно заявила, называя имена, места и встречи, что №1 был Ставский, что №2 был Цви Розенблат из лагеря «Бейтар» в Кфар-Саве, что его мог заметить Цви Шнейдерман из «Брит г`а-Бирйоним», и что на подхвате был Иегуда Минц. И еще много-много всего – и про «Бейтар», и про «Брит г`а-Бирйоним».

Теперь встал вопрос, как скормить Ривку Фейгин следствию. Чтобы следствие вышло на нее как бы само. Несколько комбинаций не удалось. Пришлось рассказать о ней одному из сочувствующих следователей – члену партии

«МАПАЙ». Но даже он не решился выпустить ее свидетельницей на процесс.

И вот, ранним утром 23 июля произошли массовые обыски и аресты ревизионистов в Кфар-Саве, Нетании, Иерусалиме и Тель-Авиве. Было конфисковано огромное количество документов и даже найдено оружие – целых два пистолета. Все газеты напечатали специальные выпуски, где к официальному заявлению полиции было добавлено много деталей о вооруженном подполье во главе с Аббой Ахимером.

Сима Арлозоров не смогла с уверенностью опознать Розенבלата. Но сам Розенבלат поначалу путался в показаниях. И немудрено: попробуйте-ка сами подробно вспомнить, что вы делали такого-то числа более месяца тому назад.

Но следствие уже закусило удила. Процесс пошел. И не помогло даже официальное письмо следователя Арази своему начальству, в котором он обосновывал свои сомнения в правдивости показаний Симы Арлозоров.

* * *

Но и «группа» не сидела сложа руки. Были собраны большие деньги, были приглашены великолепные адвокаты (поначалу Ставского защищал только адвокат от польского консульства). А 26 января 1934 года в зале суда прозвучало заявление защиты: в руках полиции истинные убийцы, и один из них уже сознался.

Несовершеннолетний араб-уголовник Абдул-Маджид ждал суда по обвинению в соучастии в другом убийстве. Он сидел в той же тюрьме в Яффе, где сидели Ставский, Розенבלат и Ахимер. Как несовершеннолетнему серьезное наказание ему не грозило, к тому же у него были давние счета со своим подельником – убийцей по имени Исса Дервиш. Подробности мы не знаем, но, забегая вперед, скажем, что, в конце концов, нищего Абдул-Маджида защищал один из лучших адвокатов, который был оплачен заранее. Так или иначе, Абдул-Маджид – высокий и крепкий – объявил себя №1, а Исса, соответственно, №2.

Абдул-Маджид твердо выучил все, что было опубликовано в газетах об убийстве Арлозорова. Исса Дервиш

упирался. Нужно отдать должное следователям: даже будучи под влиянием «комиссии», они не упустили бы настоящих убийц, попадись они им в руки. Но Абдул-Маджида удалось быстро расколоть, поймав на мелочах. Он сознался в подлоге, а заодно рассказал все, что было и все, чего не было – кто и как подкупал его и за сколько. И в этих признаниях было столько лжи, что следователи просто бросили его допрашивать.

Так что радость в лагере ревизионистов была преждевременной.

Позднее защита пыталась обвинить в убийстве... Симу Арлозоров. Ставский был в этом уверен. Но серьезных аргументов не нашлось.

* * *

8 июня 1934 года был вынесен приговор. Ахимеир и Розенблат были полностью оправданы на основании многочисленных свидетельств их алиби и отсутствия у следствия серьезных улик против них. Ахимеир, правда, остался сидеть – на него уже вели следствие по делу «Брит г`а-Бирйоним». Но Ставского судьи – трое против одного – признали виновным.

Ставский до ареста считался человеком довольно серым. Он, правда, много читал, но, в основном, легкое чтение. Но год в тюрьме, да еще в обществе Ахимеира, постоянные юридические проблемы – все это не могло не повлиять на его общий уровень. «Не меня вы осудили сегодня – обратился он к суду, – а честь английского народа. Меня вы не можете осудить, потому что я невиновен.»

С фактологической точки зрения в деле остались только показания Симы Арлозоров. Большая часть улик обвинения была парирована защитой, а показания Абдул-Маджида были разрушены обвинением.

С 16 по 20 июля заседал кассационный суд. Он принял все доводы защиты, за исключением сомнения в показаниях Симы Арлозоров. Но, поскольку тогдашний закон (в отличие от нынешнего) не позволял осудить на основании одного свидетельства, Ставский был освобожден.

Партия «МАПАЙ» не приняла этого. Того же 20 июля ЦК партии заявил, что «Ставский и Розенблат (!), хотя

и ушли от наказания, были признаны судом (!) убийцами Арлозорова».

20 июля была пятница. Вышли спецвыпуски газет под шапкой «Освобожден!» Люди обнимались на улицах, везде виднелись коричневые рубашки членов «Бейтар». Но к вечеру синие рубашки «МАПАЙ» начали расклеивать заявление своего ЦК...

Стало известно, что назавтра в субботу Ставский и Розенблат собрались прийти в главную синагогу Тель-Авива на улице Алленби, чтобы совершить «благословение за избавление» (*биркат г'а-гомель*). В пятницу на вечернем заседании ЦК партии «МАПАЙ» Давид Бен-Гурион призвал не допустить этого любой ценой, в том числе силой.

Когда утром в субботу Ставский вышел к Торе, сначала раздались крики, потом с женской галереи полетели камни. В считанные минуты синагога превратилась в поле боя, «шляпы и шапки, молитвенники и Пятикнижия (*хумашим*) летали по воздуху» (Шабтай Тевет). Побоище перекинулось на улицы и площади, Ставского вывели под охраной сотен членов «Бейтара» и молящихся, прикрывавших его своими *талитами*. Только через несколько часов усиленные отряды полиции смогли успокоить город.

* * *

Обычно бывает, что по прошествии многих лет люди немного раскрываются, рассказывают хотя бы какие-то мелкие детали, хотя бы немного меняют свою версию – и это дает возможность частично приблизиться к истине. Но не в этом случае. Никто никогда не изменил своей версии.

Сима Арлозоров осталась вдовой до конца своей скромной жизни. Она осталась верна версии, высказанной ею на суде, и всю жизнь была уверена в виновности Ставского. Впрочем, уверенность в виновности Ставского и Розенבלата стала частью «джентльменского набора» «левых».

Во время арабских беспорядков, Войны за независимость и потом в эмиграции (Исса Дервиш бежал в Сирию, Абдул-Маджид в Иорданию) многие арабы похвалялись выдуманными и невыдуманными «подвигами» на ниве убийства евреев. Но никто не похвалялся кровью Арлозорова. Несмотря на это, уверенность в смерти Арлозорова от рук

«арабских бандитов» стала частью «джентльменского набора» «правых».

Абба Ахимеир сильно изменился по выходу из тюрьмы. В 1936 году он снова женился, у него родились два сына. Позднее он открылся и своей дочери. Но он уже больше никогда не был на руководящих постах, отдав себя писанию и семье. Впрочем, семейное счастье стоит того.

Цви Розенблат сменил фамилию на Бен-Яков. Он благополучно создал семью и почти всю жизнь проработал в бухгалтерии муниципалитета Тель-Авива.

Авраам Ставский вернулся в Польшу, женился там в 1938 году, уехал с женой в США в 1940 году. Всегда оставался верным ревизионистом, помогал в организации нелегальной репатриации, а позднее в контрабанде оружия для «Эцель» (было три вооруженных еврейских милиции: «левая» «Хагана» – включая «Пальмах» – и «правые» «Эцель» и «Лехи»). В преддверии независимости из Франции вышло судно «Альталена» с грузом оружия для «Эцель». Среди прочих на борту был и Ставский. 23 июня 1948 года по приказу главы временного правительства государства Израиль, существовавшего всего 39 дней, Давида Бен-Гуриона «священная пушка» правительственных войск потопила «Альталену» напротив улицы Фришмана в Тель-Авиве. Ставский был смертельно ранен и умер через несколько дней в больнице «Хадасса» – в той самой, где умер Арлозоров! По еврейскому календарю у каждой недели года есть своя *параша* – недельный раздел Торы. И Арлозоров, и Ставский погибли на *парашат* «Шлах-леха»!

Шабтай Тевет опубликовал свое исследование в 1982 году. Старые страсти вспыхнули с новой силой. Да и сам Шабтай Тевет подчеркнул, что именно Ахимеир первым начал кампанию ненависти – как будто речь идет о ссоре в детской песочнице! Глава правительства лидер партии «Ликуд» Менахем Бегин – в прошлом командир «Эцель» – назначил следственную комиссию под председательством члена Верховного суда Давида Бхора для окончательного выяснения вопроса виновности Ставского и Розенבלата. Комиссия Бхора единогласно очистила Ставского и Розенבלата от всех обвинений, но в то же время не смогла вынести решение о том, было это убийство политическим или нет.

* * *

«– Начнем с того, что пес в своем уме. Согласна?»

– Допустим, – согласилась Алиса.

– Дальше, – сказал Кот. – Пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну, а я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своем уме.»

Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес»

Итак, перед нами до сих пор нераскрытое убийство, имевшее тяжчайшие последствия. И вот, не спрашивая вашего позволения, автор собирается покопаться в деталях. Учитывая, что на свете полным-полно переписчиков истории, действующих по принципу Чеширского Кота, автор полностью отдает себе отчет в возможных последствиях, заранее приносит всем и вся всевозможные извинения и никоим образом не настаивает на собственной правоте.

К счастью, по этому делу не существует канонической версии, и автор не должен ниспровергать авторитеты.

Как уже отмечалось, полиция не смогла провести полноценное следствие, защита опровергла косвенные улики, поэтому мы располагаем только материалами судмедэкспертизы и показаниями Симы Арлозоров.

Арлозоров был ранен в живот... Стоп. Его же убивали! Ну что это за убийца, если стреляет в живот – ведь такие раны в наше время не смертельны, Арлозорова могли спасти, да и раненый не сразу вырубается. Или он целился в грудь, а попал в живот – это с двух-то шагов! А когда Арлозоров упал на четвереньки и буквально подставил голову под следующий выстрел, убийцы бросились бежать.

По «арабской» версии цель была изнасиловать Симу, но никакой попытки сделано не было.

И вообще – убийцы добрых полчаса вертятся вокруг Арлозоровых – видимо, чтобы их получше запомнили, – потом ждут, когда Арлозоровы подойдут поближе к городу, вступают с Арлозоровыми в разговор, делают один выстрел, ранят жертву, строго говоря, не смертельно, а вторую свидетельницу вообще не трогают...

Это не заговор. В заговоре, в котором участвует много людей, в котором есть выслеживание жертвы, выход на цель, обеспечение, связь между группами – наверняка

найдется умная голова, которая не только всех организует, но и тщательно проинструктирует. И плохих стрелков на дело не пошлет.

Но отработаем версию до конца. Не заговор. Просто два ревизиониста – или два араба – гуляли себе по берегу, обнаружили Арлозоровых, поговорили между собой – мочить ли предателя, насиловать ли красотку, – из-за этого так часто попадались на глаза и не сразу приступили к делу, а уж когда приступили... Опять – почему в живот? Почему только один выстрел? Чего они испугались, что сразу же удрали? Да таких *шлимазлов* полиция должна была поймать и расколоть в два счета!

И вообще с этим выстрелом что-то странное. Сима твердо показала, что слышала двойной лязг передернутого затвора браунинга. Она могла ошибиться в системе, есть и другие пистолеты такого же действия. Из тела Арлозорова была извлечена пуля от русского нагана¹...

* * *

«Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.»

Исаак Бабель, «Закат»

Он [вынимает магазин,] передергивает затвор пистолета, выбрасывает патрон.

Вот те действия, которые пытался описать Бабель. Можно было сказать и проще – он разряжает пистолет.

Бабель служил в ЧК, Бабель служил в Первой Конной – и никогда не стрелял из пистолета или револьвера, не разбирался в этой технике? Что же тогда говорить о подавляющем большинстве читателей? Придется устроить маленький военно-технический ликбез.

В современном пистолете патроны помещаются в магазин, который, как правило, находится в рукоятке. Для выстрела необходимо дослать патрон из магазина в ствол. Это делает затвор при своем движении вперед. При выстреле пуля уходит по стволу вперед, затвор отбрасывается отдачей назад, выбрасывая стреляную гильзу, затем пружиной возвращается вперед, досылая следующий патрон. Пистолет

¹ В то время наганы производились также в Польше.

снова готов к выстрелу. Но для первого выстрела необходимо дослать патрон вручную. Для этого нужно рукой передрнуть затвор с тем самым характерным двойным металлическим лязгом. Во время выстрела лязг не слышен из-за грохота.

Таков браунинг образца 1891 года, таково подавляющее большинство современных пистолетов. Их делают, как правило, под стандартные патроны. Они плоские, их трудно спрятать под одеждой.

В револьвере со времен кольца образца 1836 года патроны находятся во вращающемся барабане впереди рукоятки, каждый в своем гнезде. Для выстрела необходимо взвести курок, который одновременно поворачивает барабан и ставит следующее гнездо против ствола. Это слышится как легкий щелчок.

Есть револьверы-самовзводы (*double action*). В них нажатием спускового крючка взводится курок с поворотом барабана и в конце производится выстрел. Это требует от указательного пальца большого усилия и, как следствие, отклоняет ствол вправо! Нужно быть очень хорошим стрелком, чтобы метко стрелять с самовзвода.

Для револьверов, как правило, производятся специальные патроны под каждую систему. Револьверы, в основном, крупные.

Русские наганы были только самовзводы, большие, с совершенно уникальным патроном – пуля крепилась внутри гильзы, а не снаружи. Ошибка исключена – в Арлозорова стреляли из нагана.

* * *

Итак, выстрел из нагана в живот. Согласно протоколу вскрытия пуля вошла справа, на линии соска, значительно ниже ребер, пересекла брюшную полость наискосок, – перебив по дороге одну из артерий и вызвав внутреннее кровоизлияние, – и застряла в мышцах спины с левой стороны.

То есть – в Арлозорова стреляли спереди справа! Даже левша на месте №2 не смог бы сделать такой выстрел. Стрелял №1.

В живот? Не может быть. В живот он попал, а не

целился. Куда же он целился, если с двух шагов так промахнулся?

А если – не целился? Если стрелял навскидку, от бедра? Тогда реально. Но и навскидку, не целясь, тоже хотят куда-то попасть. То есть, он почему-то вдруг решил пальнуть в Арлозорова. От бедра, с самовзвода, ствол уходит вправо...

Он стрелял в Симу! Навскидку, от бедра, с самовзвода! Ствол ушел вправо, и он попал в Арлозорова.

Зачем он стрелял в Симу? Чего он испугался?

* * *

Из письма следователя Иегуды Арази заместителю верховного комиссара полиции Гарри Патрику Райсу:

Требуется провести серьезное расследование, чтобы выяснить:

А. Достоверность показаний г-жи Арлозоров.

Б. Известны ли ей настоящие убийцы и не покрывает ли г-жа Арлозоров их преступление обвинением нынешних подследственных?

Из отдельного мнения судьи доктора Моше Валеро по первому приговору:

3) Первое описание нападавших, которое дала г-жа Арлозоров, резко отличается от настоящего вида Ставского или Розенблата, за исключением общего телосложения Ставского.

4) Г-жа Арлозоров ошибается в своих показаниях, хотя и с благими намерениями, когда опознает обвиняемых.

Судья полагает, что г-жа Арлозоров искренне заблуждается. Следователь – как и Ставский – предполагает более криминальную причину. А мы для себя отметим: показаниям Симы Арлозоров верить нельзя.

И в самом деле, она их меняла несколько раз, пока не утвердилась в окончательном варианте – не без помощи пресловутой «комиссии». Но даже в окончательной версии №2 стрелял под немислимым углом, лязгая затвором браунинга.

Кстати, из описания Симой лязганья пистолетного затвора следует интересный вывод: Сима Арлозоров, быть

может, не разбиралась в револьверах, зато разбиралась в пистолетах лучше Исаака Бабея. Откуда?

У самого Хаима Арлозорова был зарегистрированный маузер, который он брал с собой в дальние поездки по стране. Но...

Элизер Каплан, член руководства партии «МА-ПАЙ» и Сохнута, лично слышал от Симы Арлозоров, что в ночь убийства у нее был с собой ее собственный пистолет, которым она не сумела воспользоваться.

Пианистка Надя Рейнхарт, подруга матери Арлозорова, слышала то же самое и от Симы, и от матери.

На суде Сима полностью это отрицала. А по письму Арази Райс ничего не предпринял. Хотя, не будь дело столь громким и столь политическим, Симу наверняка бы допросили с пристрастием. Но не будем соглашаться со Ставским: слишком глупое ранение для преднамеренного убийства.

* * *

Итак, пришло время автору предъявлять собственную гипотезу:

Два человека подошли на пустынном берегу к чете Арлозоровых. Были ли они просто прохожими, грабителями или насильниками (последнее навряд ли – слишком близко от многих возможных свидетелей), евреями или арабами – роли не играет. Во всяком случае, они не планировали убийства.

По неизвестным нам причинам – ибо мы не знаем их диалога – Сима вытащила из сумочки свой пистолет, по-видимому, небольшой «дамский» браунинг.

Прохожие/грабители испугались, и №1 пальнул от бедра из своего нагана. Попал в Арлозорова, после чего оба бросились наутек.

Вот такая вполне законченная картина. И полностью совпадает с материалами следствия, и с большей частью показаний Симы.

Остается последний вопрос. Почему за столько лет ни один из них не проговорился?

Собственно, откуда мы знаем, что именно они рассказывали детям и внукам где-то там, где не называют именем Арлозорова улицы и учреждения? Ибо, увидев, какая

заварилась каша, они наверняка незамедлительно унесли ноги.

* * *

«Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем, друзья, забывать и о психологии!»

Аркадий и Борис Стругацкие, «Жук в муравейнике»

А что же Сима? О чем она молчала столько лет? Ибо я никак не настаиваю на своей гипотезе.

Многое можно предположить психологически. Но несомненно, что и партийный прессинг сделал свое дело. Признать, что дело было иначе, что роковой выстрел можно квалифицировать как самооборону – да остракизм был бы самой мягкой реакцией.

Да и не поверил бы уже никто. Ибо ненависть не нуждается в причинах, а всего лишь в предлогах. И «левые», и «правые» не считали своих противников этически равными себе. А остальное – детали.

Да и сегодня то же самое, и сейчас каждый оплевывает других с высоты своей правоты, в итоге низводя истину до инструмента собственного самоутверждения и, тем самым, убивая ее.

Хайфа, Таммуз 5764 г.¹

¹ Июнь—июль 2004 г.

Об авторах, художниках и редакторах



Сергей Аврутин. Родился и вырос в Ленинграде. Окончил Политехнический институт по специальности техника высоких напряжений. В 1987 году эмигрировал в США и продолжил свое образование, но уже в другой области: психолингвистика. Получил степень бакалавра (с отличием) в университете Брэндайз и степень PhD в Массачусетском технологическом ин-

ституте (факультет мозга и когнитивных наук). Преподавал в Йельском университете, где был удостоен стипендии Fulbright правительства США. В 2000 году получил грант Нидерландской академии наук на проведение международного исследовательского проекта, в результате чего переехал в Нидерланды, где до 2021 года являлся заведующим кафедрой лингвистики Утрехтского университета. В настоящий момент занимает должность профессора сравнительной психолингвистики в том же университете. Живет в Бельгии.

Эйтан Адам. Родился в Ленинграде в семье литераторов-шестидесятников. С 15 лет живет в Израиле. Ветеран 1-ой ливанской войны, пехотный санинструктор, в рядах бригады «Голани» дошел до Бейрута. Математик и программист, учился в Технионе и в университете имени Бен-Гуриона, около 30 лет проработал в израильском хай-теке. Изучал биоинформатику в Колледже менеджмента. Изучал герменевтику и культурологию в магистратуре университета имени Бар-Илана. Ученик Центра изучения Каббалы.

Регулярно читает лекции по истории и литературе в Доме ученых Хайфы и в Клубе книголюбов. Пишет стихи, прозу, статьи, книги. Призер Международного конкурса драматургии «Весь мир – театр. Новое слово для сцены» (2021), пьеса «Неброское наследство».

Анатолий Анимца. Родился в 1947 году в греческом селе Кременевка возле Мариуполя (Донецкая

область, Украина). В 1970 году закончил МИИТ (Москва). Инженер по вычислительной технике. Программист, электроник, экономист, изобретатель, яхтсмен. Живет в Мариуполе.



Надежда Бесфамильная. Родилась и окончила среднюю школу в Курской области, высшее образование получила на факультете романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Переводчик. С 1977 г. живет в Москве, а в последние два года большей частью на малой родине. Четыре сборника стихов. Книга стихов для детей.

Лауреат литературной премии «Наследие» в номинации поэзия за 2019 г., победитель проекта «Турнир поэтов», 2019 г., финалист и лауреат различных международных поэтических конкурсов. Соорганизатор литературно-музыкального салона «Шапировские вечера» в Московском доме архитектора.

Борис Годин. Родился в Харькове в 1950 году. Окончил харьковскую физико-математическую школу №27, вечернее отделение ХПИ, машиностроительный факультет. Профессия: инженер-механик. Совершил Алию в Израиль 26.03.1993. В Израиле работал по специальности. С 2016 г. доброволец в Яд ва-Шем.



[Анатолий Качан]. 1936 (Харьков) – 2021 (Иерусалим). Инженер-строитель, к. т. н. По специальности «Железо-бетонные конструкции». После окончания в 1959 г. Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта строил фабрику законченного цикла обработки золота на одном из приисков треста «Амурзолото» в поселке Токур на северо-востоке Амурской

области. С 1983 года – доцент Харьковского инженерно-строительного института. Лауреат премии Совмина СССР (1985 г.) за активное участие в разработке технологического комплекса механизированной подкормки сельскохозяйственных угодий.

В ноябре 2000 года вместе с семьей переехал в Израиль.

Был творческим и плодовитым человеком: столярничал, увлекался живописью – маслом с натуры, ювелирным делом – изготавливал из самшита, камня, слоновой кости, серебра украшения для родных и друзей. Писал научные статьи и учебники, на его счету порядка 20-и разнообразных изобретений – от медицинских приспособлений, устройств для подводных лодок, ветроустановок, механизированных гаражей до автоматического оружия.



Лариса Мангули. Работала в газетах и на радио Крыма, Сахалина. С 1995 г. свободный журналист, член и спецкор Международного Союза писателей и журналистов (АРИА) в Израиле. Автор четырех книг.

Алекс Манфиш. Живет в Хайфе, приехал в Израиль из Ленинграда. По специальности – детский психолог, работает в городском отделе образования. Пишет стихи, прозу, эссе на культурологические и философские темы, исторические исследования. Переводит стихи с иврита и немножко с английского. Издал три книги стихов и поэм, роман-дилогию и две книжки для детей. Публикуется на портале «Заметки по еврейской истории» – в одноименном издании, а также в журналах «Семь искусств» и «Магистерская».



Жан-Клод Паскаль (наст. фамилия **Вильмино**, 1927–1992). Работал дизайнером одежды у Кристиана Диора, затем создавал костюмы для театральных и кино постановок. В 1949 году дебютировал на театральной сцене. Признание на эстраде получил в 1958 году. Представляя Люксембург, стал победителем конкурса песни Евровидение в 1961 году, исполнив композицию «Nous Les Amoureux». Через двадцать лет

снова представлял Люксембург на конкурсе 1981 года, но с песней «C'est peut-être pas l'Amérique» занял лишь 11 место. За время своей карьеры записал более 50 альбомов на разных языках, завоевав популярность во многих странах.

Как актер снялся во многих популярных фильмах 1950–1960-х годов, в том числе, в ряде костюмированных картин («Анжелика и султан» (1968) и др.). В 1970-е годы снимался, в основном, в телевизионных постановках.

Марина Симкина. Большую часть жизни прожила в Ленинграде/Петербурге и уже много лет – в Израиле, в Хайфе. Инженер, и учитель математики. Публикации в альманахах и периодических изданиях Израиля, России и других стран. Руководитель хайфской литературной студии «Анахну» (в переводе с иврита – «Мы»).

Выпустила единственную собственную книгу стихов. И – в качестве редактора – несколько альманахов и книг друзей.



Марк Шехтман. Родился в Таджикистане в 1948 году. Получил два образования: физико-математическое и филологическое. Кандидатская диссертация и научные интересы связаны с теорией мифа и научной фантастикой.

В 1990 году эмигрировал в Израиль. Ныне живет в Иерусалиме, состоит в Союзе русскоязычных писателей Израиля.

Автор шести сборников стихов.

Публикации в журналах и коллективных сборниках России, Израиля и других стран.

Победитель 5-го Международного конкурса «ПТИЦА – 2018» и 6-го Международного конкурса им. И. Царева «Пятая стихия – 2019».

Галерея (((СОНАР)))

Лариса Мангупли



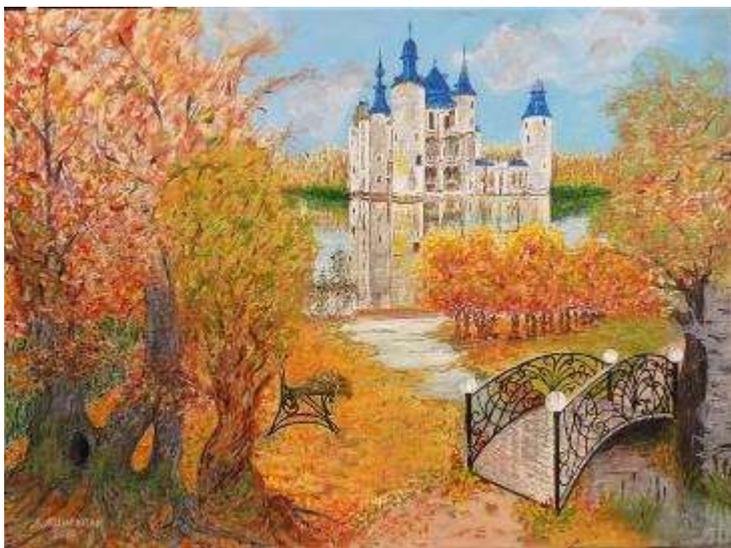
Венская осень



Дары Черного моря



Дорога к храму



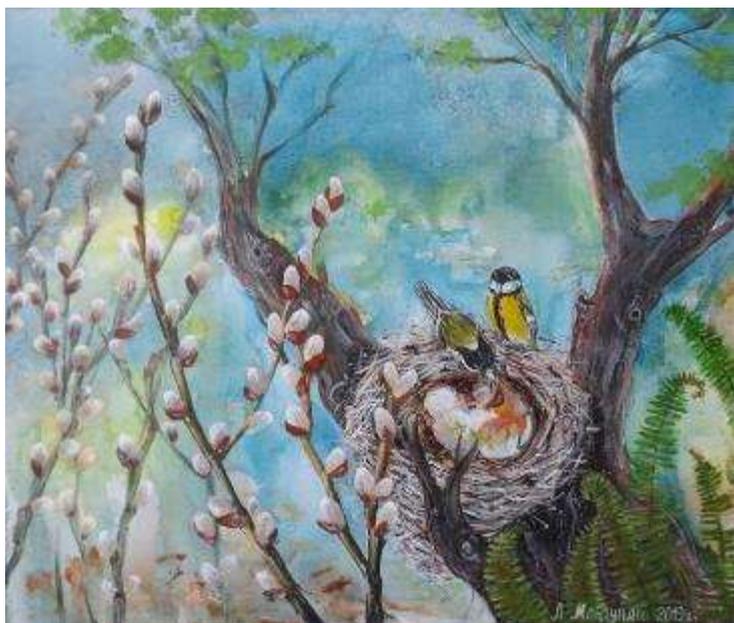
Старый замок



Зимний листопад в Израиле



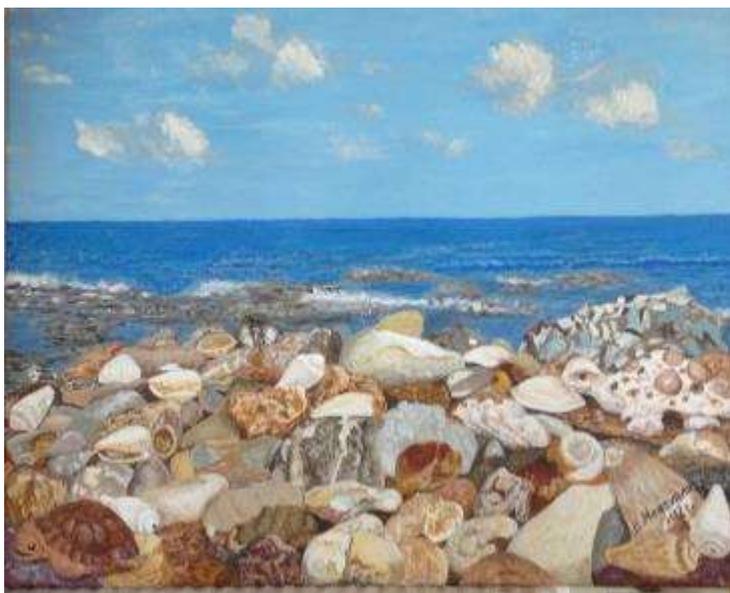
Летний пейзаж



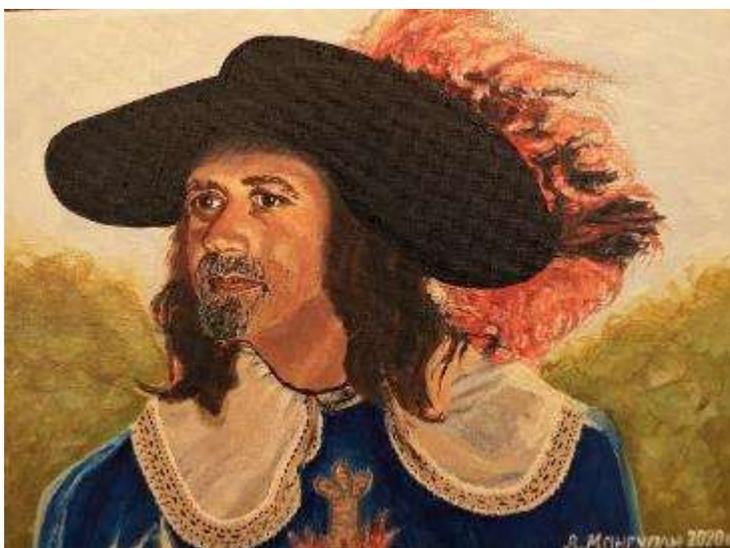
Семейные хлопоты



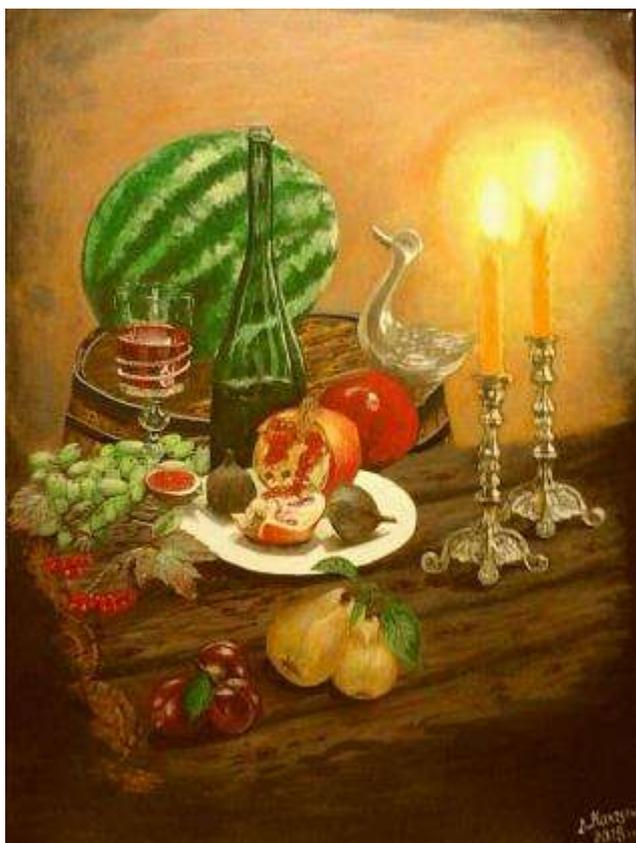
На белом кружеве волны



Творение



Мушкетер



Вечер в таверне



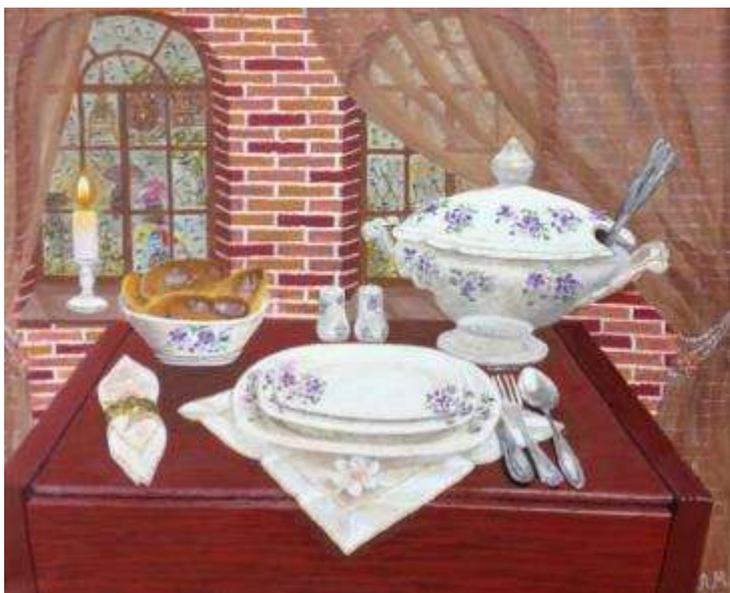
Кофейный дурман



Мамино приданое



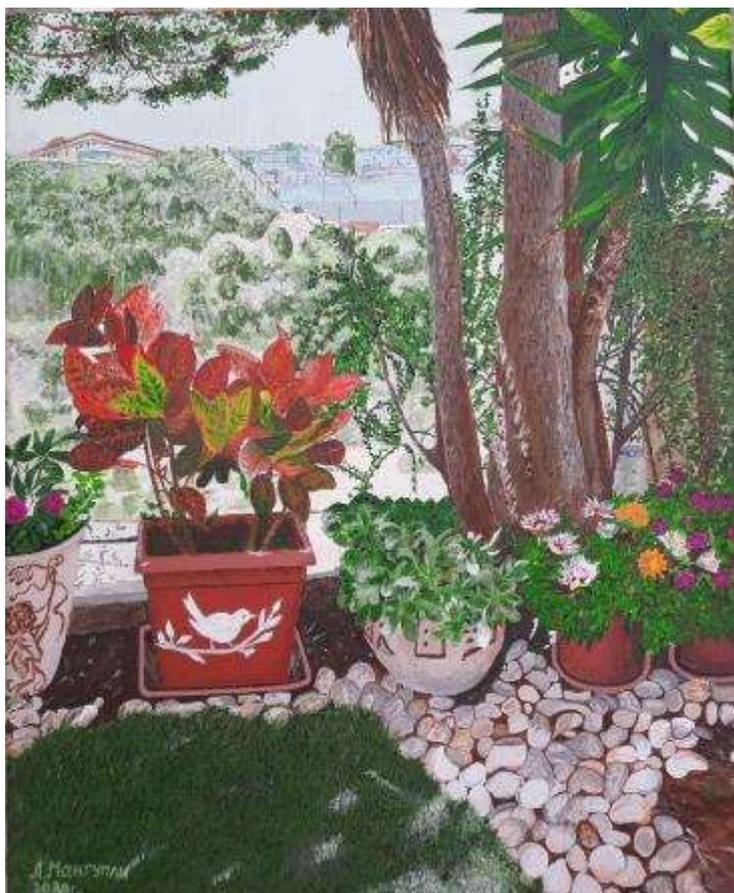
Медовое утро



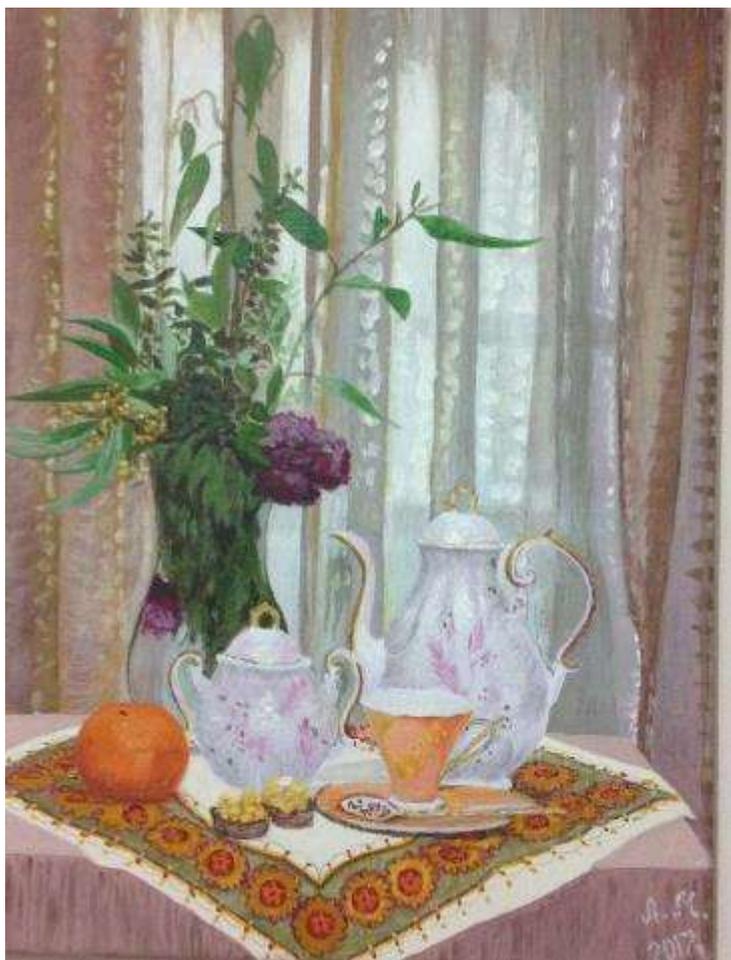
Суп с пирожками, а за окном дождь



У бабушки в деревне



На террасе



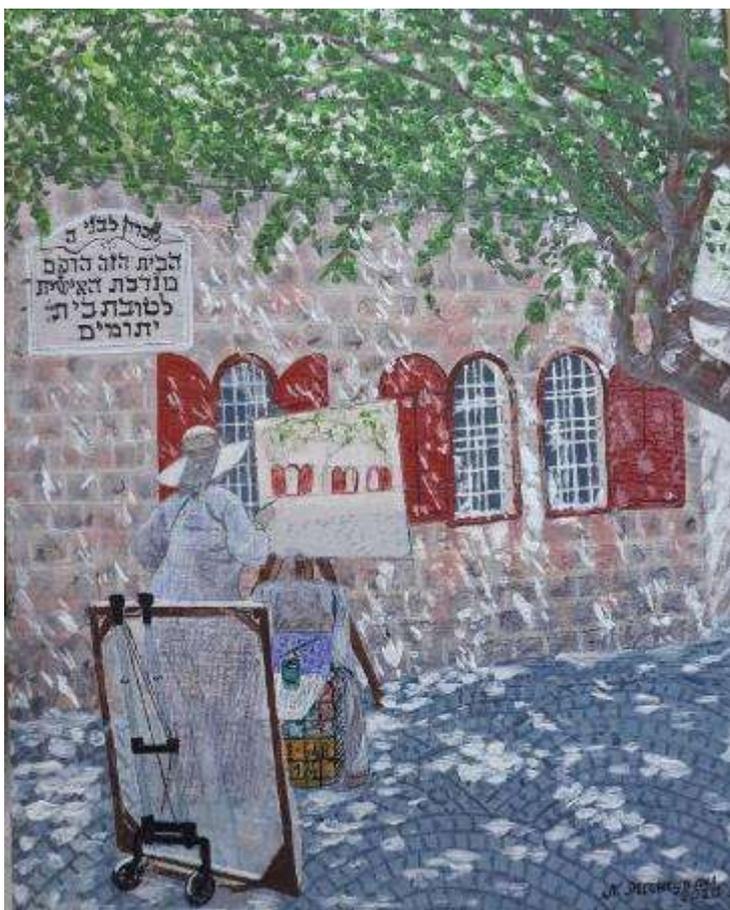
Утренний кофе с мандарином



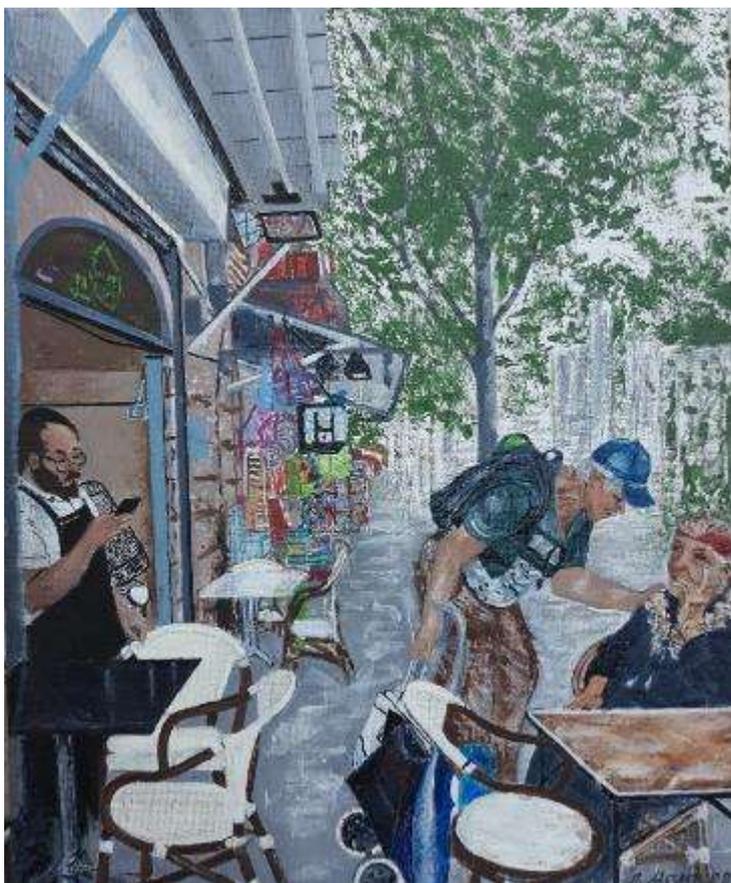
Цветущая Хайфа



Вечный город



Художница (Иерусалимские зарисовки)



Шук Махане Иегуда (Иерусалимские зарисовки)



С мечтой о Париже



Удивление





**Литературно-публицистический журнал
(((СОНАР))) № 6, 2022 г.
Редакция СОНАР, Хайфа, Израиль**